

Хачатур Абовян

# Раны Армении



eMatenadaran.

Хачатур Абовян

**Раны Армении**

«Aegitas»

## **Абовян Х. А.**

Раны Армении / Х. А. Абовян — «Aegitas»,

Главное его произведение — исторический роман «Раны Армении» (1841, издан 1858) — первый армянский светский роман на разговорном языке. Посвящен освободительной борьбе армянского народа в период Русско-персидской войны 1826—1828гг. и написан на живом народном армянском языке. Само название говорит о его патриотическом и политическом характере. Абовян рисует тяжёлое положение армян при персидском владычестве. Герой романа Агаси открывает галерею образов того «идеального гражданина и патриота», той положительной личности, воспроизведением которой были заняты и многие другие писатели; Агаси — предшественник будущих патриотов-народолюбцев второй половины XIX века. Роман «Раны Армении» интересен также своей политической тенденцией и содержащимся в нём материалом по фольклору Армении (Абовян — противник Персии, ориентирующийся на Россию).

© Абовян Х. А.

© Aegitas

# Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	12
1	12
2	22
3	30
4	34
5	38
6	41
7	45
8	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Хачатур Абовян Раны Армении

**ВЫСОКОРОДНОМУ ВОЕНАЧАЛЬНИКУ,**

**ДОБЛЕСТНОМУ ПАТРИОТУ,**

**БЛАГОРОДНОМУ ПОТОМКУ ГАЙКА,**

**ВЕНЦЕНОСНОМУ РЫЦАРЮ СМБАТУ**

**С ЗАВЕРЕНИЯМИ В ГЛУБОЧАЙШЕМ ПОЧТЕНИИ**

Пред кем открою ларец всечасных скорбей моих?  
Кому показать могу зияние ран живых?  
Тоскует лира моя, смирилась, удручена,  
Давно в душе порвалась надежды былой струна.  
Из склепа вышел бы я, где холод и тишина,  
Оплакать клочек земли, где жизнь моя тлеть должна.

И в небытии без дна, где царствует смерть одна,  
Меж предков святых почить в покое вечного сна.  
Хоть горстку б своей золы к могилам их принести,  
От ужасающих бед в небытие отойти!  
Ты вновь оживил мой дух, где свет едва не потух,  
Ты светом вновь озарил мой низко поникший дух.  
Я видел, как любишь ты свою родную страну,  
Узрел благородство твое, твоей души глубину —  
И спала вдруг пелена с моих заплаканных глаз,  
И снова окрылена, душа к тебе понеслась.  
Твой голос звал к небесам, я чувствовал: я проснусь!

Мой смертный сон убежит, и к жизни снова вернусь.  
Ты, родина, край чудес, и вы, о Гайка сыны,  
Возвышенностью души и правдой своей сильны;  
Явили мне новый рай, затеплили день святой  
Над сумрачною моею измученною душой.

В тоске, на колени пав, я жду, когда же найду  
Путеводительную на небе свою звезду.  
В сей миг, когда, горяча, несется к небу мольба,

В выси стоишь, а внизу гайканцев храбрых толпа.  
Виденьем дивным возник, слиянный с сонмом отцов,  
По праву ты разделил бессмертие храбрецов.  
Как тот Киликий вождь, ты тоже зовешься Смбат,  
В тебе его доблесть, честь, и пыл, и сердце горят.  
Мои отверзнешь уста, мечту донесешь мою  
К героям нашим, мой зов услышат в любом краю.  
Их слава веками бурь под пеплом погребена —  
Тогда не знала странна, как их бесценна цена!  
Если тебе не сплетен торжественный брабион,  
И если нами еще достойно ты не почтен,  
То Муза имя твое до самых небес вознесет,  
Ты равен будешь богам, наш рыцарь и патриот.  
И там, где память живет о наших святых отцах,  
И здесь, где имя твое звучит в молодых сердцах,  
Впредь будет слава твоя, одолевая века,  
Несокрушимо стоять, нетленна и высока.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда Крез, царь лидийский, – после того, как Кир завладел всем миром, захватив также его страну, и на поле брани войска, любимцы, друзья, военачальники покинули его, и он, Крез, выросший в жемчужных, самоцветами украшенных палатах, считавший, что нет на свете человека счастливее его, бежал, задыхаясь, перед воином-персом, чтобы хоть голову свою унести, – перс настиг его. Меч сверкнул над его головой, в глазах потемнело. Еще не лишился он жизни, но, думая, что смерть, вот-вот сейчас вырвет у него душу из тела, хотел уже сам вонзить меч себе в грудь, чтобы не от врага погибнуть, а воин, между тем, уже занес над ним меч, – как единственный сын царя, видя неминуемую смерть родителя, вдруг разверз уста: язык его, двадцать лет скованный немотой, разрешился, и сердце, двадцать лет молчавшее, впервые подало голос:

– Нечестивец! Кого убиваешь? Отведи свой меч! Не видишь разве, что перед тобою Крез, властитель мира?

Руки воина опустились, голова царская уцелела – двадцатилетний немой сын спас отца. Столько лет прожил бедняжка царевич, – и ни разу ни любовь родителей, ни их сострадание, ни страстное желание услышать его голос и тем сердце свое утолить, ни слава и величие, ни почет и власть, ни сокровища и богатства, ни любовь к миру и утехи его, ни приязнь и сладкая беседа стольких любимцев и друзей, ни гром небесный, ни сладостный напев потока или птиц пернатых за всю жизнь настолько не подействовали на его сердце, чтоб он издал хоть малейший звук, – но когда увидел он неминуемую смерть родителя, дорогого отца своего, сердце сбросило гробовую свою крышку, молчавший дотоле язык развязал свои путы, запечатленные его уста выговорили скорбь свою. Тоскующий отец, чья жизнь висела на волоске, услышал голос сына. При этом рассказе и ныне сердце слушающего загорается огнем, лишь только помыслит он, что сыновняя любовь так смогла разбить и сокрушить оковы, наложенные самой природой.

Тому уже не двадцать, а тридцать с лишним лет, дорогой мой родитель, возлюбленный народ мой, как сердце мое тоже загорелось огнем; горит оно и обращается в пепел; день и ночь слезы не покидают глаз моих, вздохи уст моих, – так жажду поведать вам, о друзья мои единокровные, мысль и заветное свое желание и лишь потом сойти в землю.

Что ни день, я воочию видел свою могилу, что ни час, огненный меч смерти вращался над моей головой; каждую минуту моей жизни ваше горящее сердце сжигало и томило мое сердце, беспрестанно слышал я ваш сладостный голос, видел ваше радующее очи лицо, чувствовал вашу благородную мысль и волю, вкушал вашу чистую любовь и дружбу, размышлял об утраченной вашей славе и величии, о деяниях и жизни прежних великолепных царей наших и князей, о былых прелестях и чудесах милой родины, нашей священной земли, о несравненном нраве и подвигах доблестного народа армянского.

Вечно предстával предо мною Масис, перстом указывал мне, какой страны я чадо; в мыслях моих вечно жив был рай, и во сне и наяву напоминавший мне о славе и величии нашей страны. Гайк, Вардан, Трдат, Просветитель говорили мне, что я их сын. Европа и Азия неустанно твердили мне, что я – дитя Гайка, внук Ноя, сын Эчмиадзина, обитатель рая. В поле или в церкви, вдали от дома или под кровлей, там, где ступала и ныне ступает нога моего народа, и камни словно хотели вырвать, извлечь из груди сердце мое.

Сколь часто при виде армянина хотел я последнее дыхание мое вырвать из груди и отдать ему.

Но увы! Язык мой был скован, а глаза отверзты; уста сомкнуты, а сердце глубоко; рука бессильна, а язык короток. Не было у меня казны, чтоб осуществить свои желания, не было и громкого имени, чтобы слово мое доходило куда следует. Книги же наши написаны на грабаре, а наш новый, живой язык не в почете, – и никак не мог я в словах выразить сердечную

свою тоску. Приказывать я не мог, а ежели бы стал просить, умолять, никто бы моих слов не понял. А я ведь тоже хотел, чтобы надо мной не насмехались, не говорили, что я груб, глуп, что не сведущ в грамматике, в риторике, в логике. Я тоже хотел, чтоб говорили: «О как глубокомысленно, как мудрено умеет он излагать свои мысли, – сам черт ни слова не разберет, не поймет!..» Я тоже хотел показать себя, чтоб удивлялись мне, хвалили меня: я, мол, тоже дока в армянском языке!

Иные знают один язык – я знаю несколько. Немало разных книг начинал я переводить и не доводил до конца. А всяких стихотворений да сочинений на грабаре я столько сам выдумал, что они могут составить целую объемистую книгу.

Бог привел ко мне за это время нескольких детей, и мне пришлось обучать их грамоте. Сердце у меня разрывалось: какую бы армянскую книгу я ни давал им в руки, дети не понимали. Что ни начнут читать на русском, немецком, французском языке, все их невинным душам нравится. Нередко я готов был волосы на себе рвать, видя, что этим детям иностранные языки по душе больше, чем наш родной.

Однако причина тому была весьма естественная: на тех языках они читали о деяниях знаменитых людей, знакомились с их поступками и словами, в книге находили то, что способно пленить человеческое сердце, ибо она говорит прямо сердцу. Кто не полюбит такого чтения? Кто не захочет узнать, что такое любовь, дружба, патриотизм, родители, дети, смерть, война?.. Но чтоб на нашем языке писалось о подобных вещах. – да пусть глаза мне выколют!

Чем же еще заставишь ребенка полюбить свой язык? Продай крестьянину алмаз, – конечно, алмаз хорошая вещь, но если у крестьянина за душой нет ничего, так он и куска просяного хлеба не даст за бесценный твой камень.

Это так.

Но когда в Европе я читал в иных книгах, что у армянского народа, видно, нет сердца, если столько событий стряслось над его головой и не нашлось ни единого человека, который написал бы хоть одно доходящее до сердца произведение; что имеется – то все о церкви, о боге, о святых, а между тем книги язычников – Гомера, Горация, Вергилия, Софокла – даже дети держат под подушками, потому что эти книги говорят о мирских делах. Сказать, что все европейцы люди неразумные, неверующие, что они ради таких пустяковых дел оставили дело божие, было бы глупо. Но как же нравятся им эти книги, а наш «Нарек» они обошли? Я знал твердо, что наш парод не таков, как думают о нем европейцы, – но что поделаешь? Жернов без зерна не замелет. Что тут скажешь?

Думал я так: написать, допустим, о героях, – да, среди нас были их тысячи, и теперь тысячи! Об умных речах, – так наши старики тысячи умных вещей знают! А гостеприимство, а любовь, дружба, храбрость, знаменитые люди – разве у наших сельчан не полны сердца именно этих мыслей! Захочешь ли рассказать басню или пословицу привести, или шутку острую, так самый последний мужик тебе не одну, а целую тысячу подскажет.

Я недоумевал: что же тогда надо сделать, чтобы другие народы узнали наше сердце, хвалили бы нас и любили наш язык? Я знал твердо: в османской земле, а также в персидской, сколько было замечательных, мудрых, одаренных людей, сколько при ханских, шахских, султанских дворах любимцев-ашугов, хороших певцов, стихотворцев, – большею частью были армяне. Достаточно упомянуть хотя бы Кешиш-Оглы или Кёр-Оглы чтоб доказать, что слова мои не ложь.

Да хотя бы и теперь: пусть поговорит кто-нибудь с Григором Тархановым, послушает его беседу, его язык красноречивый, полюбуется на его отменный рост, на прекрасное лицо. Чего стоит одно его уменье подражать речи, движениям, манере садиться и вставать сотням самых разных людей и народов, – ослепнуть мне, если я встречал что-либо подобное в лучших театрах Европы! – а школу-то он только тогда, может быть, и видел, когда у нас грамоту крючком ловили либо пулей сбивали. Вот и узнаешь, какие в армянском народе дарования!

В таких тяжких думах коротал я свои дни. Сколько раз хотел руки на себя наложить. Не находил никакого исхода. Пусть мне поверят, но это горе так овладело моим сердцем, что я часто, как безумный, кидался в горы, в ущелья, бродил в одиночестве, все думал, – и возвращался домой с сердцем, переполненным грустью.

Однажды во время летних каникул, распустив утром учеников, я, как обычно, отправился после обеда бродить по горам. Шел, шел в отчаянии и пришел в Немецкую колонию, к одному приятелю-немцу. Они очень мне посочувствовали, пожалели меня и три дня не отпускали обратно в город.

А в городе дорогие ученики мои, знакомые, друзья давно уже меня оплакивали. Думали, что я утонул в Куре, – они знали, что я каждый день, утром и вечером хожу купаться. Опять же мои дорогие, любимые ученики бросились по моим следам – узнать обо мне хоть что-нибудь. Как-то утром я сидел у окна, погруженный в свои думы, а они как раз прошли мимо. Едва я их увидел, сердце во мне перевернулось. Кто в силах описать наше свидание в тот день? У кого есть сердце, тот сам поймет.

Может быть, когда я буду в могиле, эта ваша любовь улетучится из моей памяти, о мои любезные, дорогие друзья! Но пока надо мною есть голубое небо, пока исходит дыхание из уст моих, я вас, милые мои друзья, буду почитать, как святых, жизнь свою отдам за вас!

Но, увы! Если и небо не пребывает одинаково ясным, что говорить о сердце человеческом? Едва-едва засияло солнышко в моих мыслях, опять черные тучи подняли голову, опять гром и молния разразились в моем сердце. Кинуться в воду я не мог: страх божий был у меня в душе, голос моего невинного младенца – в ушах. Любовь и родительская жалость пребывали в груди у меня. Если бы я навек успокоился, кто бы стал содержать моего сироту?

Нет, вот о чем говорил я сам с собою: надо бы засесть как следует и, насколько ума достаёт, прославить наш народ, рассказать о подвигах замечательных наших людей, – и опять я задумывался: для кого же писать, если народ языка моего не постигнет? Писать на грабаре, все равно, что писать по-русски, по-немецки, по-французски: десяток, быть может, найдется таких, кто поймет, а для сотен тысяч – что мое писание, что мельница ветряная! Ведь ежели народ не говорит на этом языке, не понимает его, тут хоть сыпья золото из уст – что толку? Каждый человек жаждет того, что сердцу его на потребу. Что мне твой сладкий плов, раз я его не люблю?

С кем я ни говорил, все только о том и разглагольствовали, что, дескать, народ наш нелюбознателен, что чтение для него никакой цены не имеет, а между тем я видел, что У этого самого народа нашего, будто бы до чтения не охочего, и история Робинзона, и глупая книжка «Медный город» по рукам ходит.

И еще я знал хорошо, что сколько ни есть на свете выдающихся народов, у всех у них два языка: древний и новый. Ведь если ученый древний язык хорош, – это и камни поймут – зачем же тогда давать жалованье, почести оказывать переводчикам? Нет уж, пусть премудрый языковед сам надрывается. Кто его услышит, тот пусть и понимает, – да не жалко ли ученой его головы?!

Но этого, думал я, и сумасшедший делать не станет. Так, продолжая все время про себя раздумывать, заходя в гости или идучи по городу, часто со всем вниманием и сосредоточенностью мысли наблюдал я народ, – как он говорит, веселится, что ему более всего по душе. Я много раз видал, как на площади или на улице люди с великим восхищеньем толпятся перед слепым ашугом, слушают, дают ему деньги, а у самих слюна бежит изо рта.

Ведь на любом торжественном сборище или свадьбе никто и куска в рот не брал, если не бывало там сазандаров!

А певали по-тюркски, многие из них ни одного слова не понимали, но душа слушающего и созерцающего улетала в рай и вновь возвращалась.

Думал я, думал, да однажды и сказал сам себе: возьми-ка ты свою грамматику, риторику и логику, сложи их да и отложи в сторону, а сам сделайся таким же ашугом, как вон те, – будь, что будет, из рукояти кинжала твоего камень не выпадет, позолота с нее не сойдет. Когда-нибудь придет час, сляжешь ты и помрешь, и никто тебя добром не помянет.

Как-то на масленой распустил я своих учеников и начал перебирать в уме все, что с детства слышал, видел и знал. Наконец вспомнил моего юного Агаси, а вместе с ним и еще сто храбрых армянских парней подняли свои головы, зовя меня идти за ними. Все они были знатные люди; многие и теперь еще здравствуют, слава богу. А бедняк Агаси был мертв – святой могиле его поклон. Нечего кривить душой, – избираю его.

Сердце подкатило к горлу.

Я видел, что уже мало кто берет в руки армянскую книгу, мало кто говорит на армянском языке. А каждый народ зиждется на языке и вере. Если и их потеряем – горе нам! Армянский язык бежал впереди меня, как Крез; уста мои, тридцать лет запечатленные, открыл Агаси.

Не написал я и одной страницы, как мой любезный друг детства и благородный армянин, господин доктор Агафон Смбамян, зашел ко мне. Я хотел было прикрыть писание, да не успел. Бог послал мне его в тот час. Спасибо ему – он настоял, чтоб я прочел написанное; нечего было от друга скрывать.

Сердце во мне екало, пока я читал. Думал: вот-вот сейчас отвернется, насупит брови, как другие, и посмеется моему сумасбродству – в душе посмеется, чтобы в глаза не сказать. И дурной же был я, не знал я еще благородной его души. Под конец, когда шашка уже до самой кости дошла, и он произнес: «если будете продолжать в том же духе, получится прекрасная вещь», – я готов был броситься к нему на шею и в уста поцеловать, в эти сладостные его уста.

Его святой дружбе обязан я тем, что разрешилась речь моя запечатленная. Едва он ушел, словно некий огонь возгорелся во мне. Было десять часов утра. Ни хлеб, ни еда какая-либо не шли мне на ум. Если муха пролетала мимо меня, я готов был убить ее, до того был воспламенен.

Армения, словно ангел, стояла передо мною и придавала мне крылья. Отец с матерью, дом, детство, все когда-то сказанное, слышанное – так живо мне предстало, что я обо всем на свете позабыл. Сколько было в голове моей глухих, затерявшихся, заблудившихся мыслей – вдруг все они раскрылись, все вернулись ко мне.

Теперь только осенило меня, что грабар и другие языки до сих пор застилали мой ум, сковывая его. Все, что я говорил или писал раньше, все было краденое и надуманное, – потому-то стоило мне, бывало, написать всего одну страницу, как либо сон меня одолевал, либо рука уставала.

До пяти часов пополуночи я ни на хлеб, ни на чай и смотреть не хотел: трубка была мне яством, писание – хлебом. Домашние мои и так и сяк подступали ко мне, просили, сердились, готовы были со мною поссориться, – я ни на что не обращал внимания. Тридцать листов бумаги были уже исписаны, когда природа взяла свое – глаза мои сомкнулись. Всю остальную ночь мне чудилось, что я сижу и пишу. Какое было бы счастье, если бы все те мысли мог я и днем припомнить.

Любезный читатель, не гневайся, что я так затянул дело. Затем я все это припоминаю, чтобы ты знал, какая прелесть, какая сила в любви к народу.

Что я увидел наутро, – да не случится в доме врага моего! Только открыл глаза, слышу голос бедной моей супруги, – она иностранка, немка. Вижу: она, прижав к груди единственного моего сына, так заливается-плачет, что камни и те разжалобились бы. Слуга и служанка, тоже остолбенев, стоят в углу и смотрят на меня с состраданием. Чье сердце не разорвалось бы в этот миг? Я вскакиваю как сумасшедший, гляжу на своего младенца – слава богу, жив-здоров!

Умоляю жену, но она никак не опомнится. Я не понимал, что же случилось.

– Безбожник! Ты убил меня! Что ты сделал со мной? – услышал я наконец.

Прислуга, со своей стороны, меня упрекает.

И вот узнаю, что я всю ночь напролет бредил, кричал, охал, что-то бормотал и па все вопросы домашних отвечал не по-немецки, а только по-армянски и, наговорив тысячу сумасбродных вещей, снова вступал в свои борения. До девяти часов утра я, оказывается, эдак проводил время в свое удовольствие, а они в отчаянии меня оплакивали!

В то утро, а потом в следующую неделю и месяц я пламенно желал – как и сегодня желаю – пойти к какому-нибудь знатному человеку, поклониться ему в ноги и сказать, чтоб он дал мне кусок хлеба, – и пошел бы я бродить по деревням, день и ночь собирать, что сотворил наш народ, и потом все это описывать.

Пускай теперь называют меня неучем. Язык мой разрешился ради тебя, мой благородный, родной сердцу моему, любезный народ! Пусть изучивший логику пишет для такого же, как он, ученого, а я – твой пропащий, неумелый сын – для тебя.

У кого в руках меч, пусть сразит сперва мою голову, вонзит его в сердце мое, а не то, пока есть у меня язык, пока бьется сердце в груди, буду я кричать неистово: «На кого меч подняли? Не знаете вы разве великого народа армянского?..»

Только бы ты, ты, мой народ благородный, полюбил, да принял бы мое дело и незрелый язык сына твоего, как родитель приемлет первый лепет младенца, который не променяет и на целый мир.

Вырасту – тогда будем и на замысловатом языке говорить.

Агаси – младший твой сын. Много у тебя сыновей старше его, именитей его. Приободри ты меня, свет моей жизни! И погляди, как я отважусь, приведу их сюда и поставлю пред очи твои, чтобы ты подивился, какие у тебя сыны, можно ли с ними предаваться горю. Лицо мое у ног твоих, – дай мне облобызать твою святую десницу. Прости меня, и пойдем к милому нашему Агаси.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Была масленица. В тот год навалило много снега, он лежал и на горах и в ущельях. Ясная морозная ночь так сковала землю, что она под каждым шагом, на тысячу ладов трещала, скрипела, хрустела, звенела, издавала тысячу всяких звуков. Дрожь пронимала до костей. С веток каждого дерева, с крыши каждого дома свисали тысячи разнообразных ледяных сосулек, тысячи нагромоздившихся друг на друга обледенелых снежных комьев.

Казалось, горы и ущелья только что зацвели или же едва успели отцвести: стоят на пороге смерти и осталось им лишь испустить дух и сказать миру свое последнее «прости». Птицы, дикие звери, животные, гады, – иные окоченели и попадали тут и там, а другие заблаговременно, за месяц вперед забились в свои норы и там притаились, поедая потихоньку свои запасы в ожидании возврата весны.

Реки, ручьи задержались ледяным покровом толщиной в добрый гяз, наросшим постепенно, пласт на пласт, и так сковавшим уста текучих вод и ключей, что, лишь стоя возле них, можно было расслышать глухой их голос, – он журчал грустно, уныло, то вдруг умолкал понемногу, немел, застывал.

В то утро, едва лишь солнце приподняло голову с ложа сна и взором окинуло мир, лучи его так засияли, засверкали, заблестали над горными вершинами и полями, так заиграли со снегом и льдом, смеясь, переливаясь зеленым и красным цветом, что, казалось, алмазы, изумруды, яхонты и еще тысячи самоцветов рассыпаны по долинам и маковкам, излогам, склонам гор.

Холодная вьюга с горных высот, свирепый ветер из ущелий, почувяв такую волю, так стали завывать, дуть, мести и взвихривать снежную пыль, что у путника коченели нос и губы и кожа трескалась. Они раздирали несчастному лицо, били его без устали по голове, по щекам, забивали ему глаза и рот. Многих сбрасывали в ущелья, где они и погибали. Иных, бездыханных, погребали под снегом, других сгоняли в сторону с дороги, с одеревеневшими ногами и головой закидывали куда-нибудь в горы или долины и душили там, либо швыряли их умирать на острые камни.

В такой-то лютый зимний день, лишь только свет отделился от тьмы и восток зарделся зарей, канакерцы<sup>1</sup> проснулись, встали, пооткрыли ердыки, умылись, перекрестились раза два, пожелали друг другу доброго утра, накрыли чем попало еще спящих детей и отправились каждый по своим делам.

Старики, расчесывая на ходу бороды и перебирая четки, старухи с чадрами под мышкой не спеша вышли из домов и, читая «Отче наш» или бормоча под нос «Отрекаемся» либо «Исповедуем», издали друг с другом здороваясь, многие с ковриками или шкуркой в руках, чтобы на пол под себя подстлать, – тесной гурьбой подошли к церкви и облобызали дверь. Пришли так рано, что и попа еще в храме не было; сказали звонарю, чтоб ударил в колокол, сами же, отвесив несколько земных поклонов, разостлали друг подле друга свои коврики – мужчины перед алтарем или между колоннами, женщины позади, – потом стали на колени и, принаклонясь друг к другу, начали беседовать про свои дела: что на селе да как дома, спрашивать взаимно о здоровье, пока наконец не пришел поп. Зажгли свечи, лампы, – где не было

---

<sup>1</sup> Канакер – селение, находящееся в пяти верстах к северу от Еревана, на возвышенном месте, с чудесной водой и прекрасным воздухом, окруженное садами. В нем две церкви, множество развалин и в настоящее время пятьдесят дворов. Летнее местопребывание ереванских ханов. (Прим. автора).

масла – пономарь подлил. Потом он накинул на попа ризу и в ожидании, когда явятся второй пономарь и дьячки, тоже положил несколько земных поклонов, стал на колени, пропел псалом, сотворил молитву, оглядел хорошенько всех пришедших – у кого осведомился о здоровье, с кем потолковал о том, о сем – и стал глаза протирать, пока народу не наберется побольше. Второй пономарь пришел, прочитали «Отрекаемся», причем головы накрыли шапками, а лицом обратились на запад; потом снова повернулись к востоку: начали «Верую», «Грешен», еще раз ударили в колокол.

Где не было колокола, там звонарь поднялся на крышу, на кизячный стожок, покричал оттуда, и обедня началась.

Поп с дьячком служили, народ клал земные поклоны; люди крестились, становились на колени, присаживались, а усердный, расторопный пономарь то подрезал свечной фитиль, то затеплял лампаду или же, почесывая себе бороду, потирая лысину и позевывая, сновал взад и вперед по храму, либо заправлял кадило или хлопал по голове ребят, чтоб смиренно стояли, не поднимали шума и не перебежали с места на место. Время от времени он доставал из кармана табакерку, встряхивал, сначала нюхал сам, чихал, крестился или же проклинал дьявола, потом, в знак уважения, угощал кое-кого из знатных сельчан, степенно отходил и снова важно, чинно возвращался на свое место, либо же исполнял приказания священника.

Между тем молодые парни, свободные от летних занятий, – зимой тебе ни косить, ни молотить, ни сад прокапывать, ни лозу обрезать, ни солому возить не надо, – потянулись разок-другой, потеряли глаза и, еще не совсем стряхнув с себя сон, пошли в хлев задать сена скотине и лошадям, убрать под ними, а потом свести на водопой, почистить коней скребницей да привести с песнями обратно, привязать и идти в дом.

Стыдливые молодки, подтянув до полнуса шелковый, золотом расшитый ошмаг, спустив край лачака ниже глаз так, что лица их вовсе оказывались невидимыми, надев шелковую или синего холста минтану, нарядившись в канаусовую или полотняную сорочку, вчетверо или впятеро обмотав вокруг талии широкий кушак, – легко и проворно, словно пташки, слегка попрыскали на лицо водицей, утерлись по лую, и одна стала подметать пол, другая убирать двор, а третья уже высекла огонь из кремня, чтобы затопить тондыр и, заготовив что надо, расставить котлы и приготовить пищу.

А молодые девушки дома расчесали себе волосы, заплели косы, закинули их за спину, надели остроконечные шапки с красным верхом, повязали уши, накинули на плечи полотенца, положили на них кувшины с заткнутым горлышком и пошли за водой для дома, потом, наговорившись друг с другом у воды, возвратились каждая к себе, опять-таки друг с другом по дороге беседуя и смеясь.

Солнечный луч проник в дом. Борей свистел, жужжал; вьюга шипела, пыхтела, выла, забрасывала снег через окна, через ердык, набивала им глаза и уши.

Дети встали, впросонках расселись рядышком вокруг тондыра и, еще неумытые, топтали ногами о камень, о землю, лезли с кулаками на матерей, требуя хлеба.

Черный, густой дым кизяка застилал входную дверь и ердык, обращая дом в целое дымное море, – глаз человеческий ничего различить не мог. Плач и хныканье детей выводили из терпенья, от них сверлило голову. Тот ревел в колыбели, тот кричал под одеялом, с глазами и ртом полными дыма. Иные, не довольствуясь полученным куском, хныкали; и клянчили еще, – авось, дадут, чтоб замолчали!

Бедная хозяйка не знала, чей рот рукой закрыть, чей насытить жадный глаз, а сама то откроет глаза или рот, то закроет, – совсем из сил выбилась. Сколько она наглоталась дыма, сколько нанюхалась табаку! – чихала и кашляла так, что сердце к самому горлу подкатывало. Столько терла она глаза свои, столько лила горячих слез, что вовсе почти ослепла.

Столько топталась она из угла в угол, сгорбленная, словно в куриной слепоте, что не могла уже спины разогнуть. А тондыр все истовой разгорался. Котлы кипели, клокотали. Она

еще разок прошлась венником вокруг тондыра, навела чистоту, потом попробовала кушанья, посолила и стала ждать, когда ее домашние придут из церкви.

Но бог смиловился: дым разошелся, ветер притих, кто по воду пошел – вернулись; и парни собрались, и солнце уже поднялось па добрую сажень, – но пока не пришли из церкви, пока не произнесли приветствия «Господи, помилуй», никто из домашних не смеет и кроху малую взять в рот!

Еще восьми не было в то время, о котором я веду речь.

– Эх! то уж не заутреня для нас получается, а, по правде сказать, ослиная свадьба!.. – заговорил Агаси, старшой Оганеса, сельского старосты, и, раз открыв рот, стал бормотать про себя, ворчать, что оседлал, мол, своего серого, приготовился выехать на сегодняшнюю джигитовку, собирался наскоро закусить чем попало, вскочить на коня и поскакать с такими же парнями, как он сам, – погулять с ними, как им по душе.

Чего тянут без толку, будь они неладны, жилы вытягивают? Положил два-три поклона земных, перекрестился разочка два, и готово: облобызай церковную дверь – да и домой, займись каждый своим делом.

И зачем это нужно? – вцепились в церковь, как в конский хвост, не дождешься, – а ты знай, рот открывай да закрывай, пока не скажут тебе: «Будьте благословенны», – тогда и хлеба отведывай. Вот тебе крест, эти старики да старухи, чем старше становятся, тем у них разума меньше. Хочешь сердись, хочешь – воду студеную пей. Хоть помри, а дожидайся, когда отмолятся, придут, скажут: «Господи, помилуй» – тогда еще, может, кой-чего перепадет. Не глядели бы глаза, все нутро сохнет. Ведь нынче и жертву не резали, стало быть, и с паперти не раздают – есть еще смысл там канителиться, ежели б хоть глаз чему-нибудь порадовался, рот бы хоть вкус мясного почуял, нос бы его запах нюхнул...

Попы сегодня что-то больно ретивы – им разве дело, что волк овцу утащил? Меры не знают: хорошо ли, плохо ли, – знай, мелют, а не то чтобы приподнять рычажок, – зерно-то и посыпалось бы, глядишь, поскорей, – и каждый бы уж дома был.

Им и в голову не приходит, какой нынче день. И кто это установил такие порядки? Будь помянут добром отец его, а про самого что сказать? – видно, вместо хлеба он сено жевал, вот оно что!..

Животы подвело – вишь как урчит, – а ты все ж таки жди, томись, пока служба отойдет и наступит для брюха пай небесный...

– Да ну тебя совсем! Что с тобой? Лучше потерпел бы немножко да придержал язык! Чего ты с самого утра ему волю даешь? Авось, в животе у тебя не пожар, не сгоришь, не испечешься! – сказала мать, сердясь. – Точно весь мир разграбили, а ты остался ни с чем, все на свете пропало а ты один остался. А мы, по-твоему, не люди? Нас, по-твоему, не бог создал? Из земли мы что ли выросли? Ох-ох-ох-ох!.. Нынешние парни вовсе с ума сошли, на привязи держать их надо. Старших не уважают, не ценят ни веры святой, ни могущества церкви божией, ни молитвы. Бог за то на нас и разгневался, оттого и сыплются на нас беспрестанные бедствия. Каждый своего коня погоняет. Еще молоко на губах не обсохло, ходить еще немеет, а уж ногу закидывает, – нет, не потерпит этого бог. Встал с постели, так перво-наперво бога прославь, осени лицо свое крестным знаменем, о душе помысли, а потом и делай, что хочешь. Авось, с этого не треснешь. Та, та, та... Избави бог от нынешних детей. Позволь им, – так они весь мир разрушат. Хорошо еще, бог терпит такое беззаконие. Будь я на его месте, не потерпела бы!..

Агаси был покорным сыном. Матери он ни слова не сказал, смолчал, однако и слова пропустил мимо ушей. У него земля под ногтями горела. Сердце готово было через рот выскочить.

Бедный парень, вырос на селе, в церковь почти никогда не ходил, молитв не слышал, жил себе на здоровье в лугах да в горах. Один раз на пасху да раз на рождество он, правда, – да ослепнет сатана! – слушал колокол и обедню – но какой с этого прок? Ни сердце, ни душа его на это не отзывались. Для него, что церковная служба, что волчья свадьба – все было равно. Ни

слов он не разумел, ни значения молитв, а когда клал земные поклоны или стоял на коленях, так спина болела и ноги тоже. Подождет если под себя ноги, сядет – устает, а на ногах стоять – никакого терпенья не хватает. Нередко поневоле выходил на церковный двор, садился там на плиту надгробную, высыпался всласть и шел обратно в церковь.

А то иной раз придет, когда все уж кончено, возглашают уж «Будьте благословенны!» Так ничего: раза два перекрестится, приложится к церковной двери – и домой.

Ну, а мы разве не то се самое делаем? Чего же удивляться неотесанному мужи у или смеяться над ним? Ведь и попы-то сами в ином месте черного от белого едва отличают.

Бывало, при чтении евангелия поп тысячу раз очки поправит, а то на дьячка либо на пономаря сердится; аналой к самой груди придвигает; ил же потеряет в книге главу или страницу и возьмет в руку свечечку, или же бьет псаломщика по голове, чтоб тот свечу прямо держал.

А частенько к тому же попадалось, откуда ни возмись, какое-нибудь словно такое плохое, неудобоваримое, затруднительное, наимудреннейшее, что сам черт ногу сломит! Оттого ли что поп больно уж нагибался или свечу чересчур близко держал, – книга нередко загоралась, а то и борода.

Однако подобные слова были у них на примете: как только к ним подступят, так либо вовсе обойдут, либо одну букву выговорят, другую проглотят. Случалось, что увидят «свт», а прочтут не «свят», а «сват»; или стоит «гд» – «год», а прочтут «гад». Ну, а молящийся либо клянёт попа, либо вовсе слушать перестает.

Когда же недоставало какой-нибудь буквы, то – не приведи бог! – и народ, и поп, и дьячок все голову ломали; из каждых уст свое слово вылетало, – надо в зурну дуть, а они в бубен бьют, чтецу вместо свечи рипиду или метлу суют. Тут уж кто печатника славословит, кто переплетчика расхваливает. В конечном итоге не столько люди за спасение души своей бога благодарили, сколько за избавление от книг от святого, то есть евангелия. А уж если в то время случалась присутствовать иеромонаху, то, не приведи бог! – так и застревал осел в грязи, у чтеца и ноги и руки дрожмя дрожали и язык вовсе отнимался.

Удивляться, впрочем, тут нечего, – что им делать, беднягам? Школ в деревнях нет, в городе порядочного: учителя не найти, а у многих, вдобавок, – пошарь в животе, так ни аза не отыщешь. И то уж много, что хоть кое-как черпают воду из посуды, все-таки дело свое делают, справляют церковное богослужение. Все мы хорошо знаем, на ком тут вина, но сейчас не время об этом заговаривать. – Да и что мне сказать. Разумеющий уразумеет, может, и в затылке почешет, да только с того сыт не станешь. Лучше бы, не откладывая, дело налаживать, не повторять: завтра, завтра!.. – Завтра такой же день, как и сегодня. Пока будем откладывать, волк всю скотину перетаскает. У кого есть уши, да услышит, – а не то, смотри, о камень споткнешься!

Наш Агаси, чтобы сказать правду, кроме того три-четыре раза в год причащался, исповедовался, постился, от пищи воздерживался, участвовал в жертвоприношении пасхальном, возжигал ладан и свечи. Все грехи свои, бывало, попу на шею навяжет, а сам рот утрет и руки умоет, да и станет себе в сторонку. Но только исполнив, что долг требует, ни в чем он не менялся – по курдской поговорке: «Подпасок был – подпасок и есть». Та же вода, та же мельница: и в мозгу не прибавилось, и во рту не сладко. И дорогу в церковь, и ладан, и свечу вовсе, можно сказать позабывал. Знал только обычай. С тех пор, как прозрели глаза, знал, что в кануны великих пяти праздников не следует вкушать мяса, что нужно ходить в храм божий, поститься, причащаться, служить обедни, устраивать трапезы поминальные, святить могилы. Другие делали, – и он делал: кормил нищих, нередко приглашал священника и народ и поминал души усопших своих родственников.

Все эти обычаи – прекрасные обычаи, несравненный закон, все это – святое богопочитание и человеколюбие. Дай бог, чтобы каждый народ обладал теми чертами добродетели, коими

отличается избранный наш народ, – но Агаси часто на то именно и злился, что не растолковывали ему, в чем сила всего того, что по обычаю выполнялось.

Выходил он в поле, видел хлеба и плоды, деревья и цветы луговые, видел в небе сияние ясного солнца, месяца, звезды – и часто душа его воспаряла, ум взлетал, нередко очи наполнялись слезами, он останавливался, как вкопанный, и казалось ему, что привели его в рай небесный. Он раскрывал объятия свои, обнажал голову, обращал взоры к небу, либо окидывал ими землю, вздыхал и хотелось ему воскликнуть: «Ах, кто же ты, кто? Слава тебе, господь-создатель, столько благ для нас сотворивший! Ах, зачем ты святого лица своего нам не явишь, чтоб могли мы припасть к ногам твоим, наше сердце и душу в жертву тебе принести! Как могу я сказать, что прекрасна только земля, украшенная тысячью цветов и растений? – как же промолчать мне о небе, – не оно ли дарует мне свет дневной, выращивает плоды на полях моих, а ночью от глаз моих отгоняет тьму и, возвышаясь над головой моей, подобно шатру, посылает дождь или солнце, чтоб мог я жить, вскармливать детей, быть полезным миру, – дабы по кончине моей люди могли прийти ко мне на могилу, помянуть простым словом и помолиться за упокой моей души? Ах! Господи, царь небесный! Каждый раз, лишь открою глаза и увижу творение твое, сердце мое превращается в огонь, глаза – в слезное море, уста не молвствуют – я весь пламенею, в жару, но диво – не сгораю в том огне, в воде той не тону. Блуждающий взор мой перевожу с куста на куст, с горы на гору. Взгляну ли на корни древесные или на горную маковку, очи мои мутятся, помрачаются. Шуршат ли древесные листья, летит ли птица, журчит ли родник, или соловей поет, дует ли ветер, ложится ли роса на лицо мое, загремит ли гром, польется ли дождь – мнится мне чей-то голос, чья-то рука, чья-то душа незримая, зывающая ко мне, манящая меня, радующаяся мне, – и будто говорит: «Вкушай все сие, земнородный человек, будь добр, твори добро, познай величие и попечение создателя, плодоноси, как дерево, благоухай, как цветок; породжай ключи, как гора, злаки, как поле; хлеб, как земля; свет, как небо... Наслаждайся господними благами и другому уделай долю; увидишь бедняка – накорми его, насыть; летит ли над тобой птица, – покличь ее, дай ей зерна; будь щедр – щедро вознагражден будешь и познаешь на земле счастье».

Ах, все я сделаю. Жизни ли моей потребуют, – не пожалею и жизни своей. Но, – господи боже милостивый! – что будет, если эта душа незримая вдруг, хоть раз один, явится мне, чтобы мне не сгореть, не истоскаться, не истомиться от сильной любви к ней? Ежели б хоть в сновидении увидел я однажды образ ее, в сердце моем не осталось бы горя, и я столько бы не жаждал, столько бы не страдал.

Ежели ты посылаешь ее в мир, о господь мой и создатель, зачем повелеть не хочешь, чтобы она хоть на день, на день лишь один, ах, на минуту, на одно хоть бы мгновение показалось мне, чтобы увидел я ее, утолил бы сердце и снова стал бы творить, что она внушает; вынул бы кусок изо рта и дал другому, снял бы с себя одежду, покрыл бы чужое тело, дабы отец и мать моя возрадовались сердцем и сказали, что бог дал им хорошего сына, к их наставлениям не забывчивого, следующего по пути добра, поступающего, как они говорят...»

Так думал, выходя в поле, наш простодушный Агаси, и сердце его надрывалось. Возвращаясь из церкви, он благодарил господа бога, что служба скоро кончилась, что пришел он домой, что отдохнет немного и пойдет снова в поля, – и там опять раскроется сердце его, опять услышит он тот голос прекрасный и станет делать свое дело.

Нередко приходил он из церкви рассерженным, протягивал ноги в углу или под курсою, недовольно ворчал, жаловался, что в церкви, на исповеди, его о таких вещах спрашивали, так оскорбляли его сердце, что и во сне не приснится.

«Ты, брат, сперва пособи мне в том, что я наделал, а потом и спрашивай обо всем другом» – частенько говорил он всердцах. – «Сколько ни говори, все-таки битых два часа заставляют на коленях стоять, надоедают: скажи, мол, да скажи... А что мне сказать, коль я ничего такую не сделал? Что? Ты сделай так, чтоб у меня сердце хоть немного освежилось, согрелось.

Какая тебе польза, что я много наговорю? Я и так делаю тебе уважение, виду не показываю. Что же? Так все и выговаривать, что на язык взбредет? Ты такое спрашиваешь, что во мне сердце трепещет – камень и то таких слов не выдержит. И как это в святом божьем храме о подобном спрашивать! – об этом и в пустынном поле говорить нельзя, – ветер, гляди, подхватит да до чужого уха донесет, и дома нельзя говорить – ни, ни, – стены содрогнутся.

Я своим коротким умом так рассуждаю: человек на исповеди сам должен подумать о мерзости своего прегрешения, о содеянном им зле, посожалеть о нем, раскаяться, попросить у бога даровать ему отпущение, чтобы он больше того не делал, дать силу, чтобы не сбивался он с пути, чтоб был добрый.

А если эдак насиловать, наваливать на человека бремя, наполнять ему слух такими вещами, без отклика в сердце – что ж из этого получится? – Ничего! Ну, бейся целых пять дней головой об камни, постись хоть круглый год, – да если сердце твое не чисто, какая от этого польза? Сделал ты мне, скажем, что-нибудь плохое, так должен сам сердцем постигнуть, сам раскаянье почувствовать, – а оттого, что другой тебе подскажет, ты все равно своего желания, намерений своих не оставишь. Коли стал на колени перед попом, покаялся в грехах, должен так встать, чтобы совесть твоя была спокойна, чтобы слова его тебе в голову влезли, – а коли ты с тяжелым сердцем пошел да с тяжелым и встал – какой от этого прок?

Беда да и только – схватят за ворот и не отпускают. Как подходит день исповеди, видит бог, дрожь всего пробирает. Всю посуду, можно сказать, перебиваю, весь свой мозг выжимаю да процеживаю, все хочу высмотреть, что я такого натворил, – чтобы самому сказать, не заставляя его спрашивать. Не грабил, не убивал, чужого хлеба не отымал. Богу это известно. Воровства, злодеяния всякого, непотребства – и в мыслях нет. Сколько под солнцем, под дождем на коленках наползаешься! Утром уйдешь в поле, вечером придешь, никому дурного не желаешь – какой там грех? А они долбят: скажи да скажи! Сам я знаю, кто не человек, а греха мешок, – от них от самих отчета потребовать надо. Сами они на нас бремя наваливают, сами нас грешниками делают.

Верно сказано: кто век над книгой корпит, у того мозг в костях жидкий, в голове ума нет, а то еще, пожалуй, обасурманится. Грамотен мир построили, грамотеи же и развалиют. Врагу не пожелаю, чтоб он к ним в руки попал: живьем съедят. Всего от них жди. Евангелие читают, обедню служат, а сами нам говорят: поступайте, как мы учим, а на дела наши не смотрите. Но как же не смотреть? – Я, авось, не слепой, слава тебе, господи! По какому пути ты идешь, по тому же пути и я должен идти с тобой вместе. Ты иди прямо – и я пойду прямо: силком ведь не заставишь. Сам ты как рак вкривь ползешь, а с меня требуешь, чтоб я криво не шел. Ты сперва сам делай, потом меня наставляй. Я тоже знаю, что бог дурного не любит. Уж коли я – прах земной – дурное ненавижу, станет ли его бог терпеть? Есть у тебя что сказать – скажи, а нет, так не тебе и караваны грабить. А то сядут, говорят долго, длинно, вещей помянут тысячу, чудес тысячу порасскажут, а содержание – пустота, семь горошин, ни соли, ни приправы.

Ведает Христос, я у дерева да у поля своего больше поучаюсь, чем у них. Слушай: денег захочешь – дам денег; нет денег – голову продам, тебя поддержу, – ты только мне такое скажи, что в моей бы голове уложилось. Если на зов мой поспешишь мне на помощь, тогда хоть души моей пожелай – не откажу, вот увидишь.

Ну, да об этом – мимо. А вот хоть бы наш священник Маркос: накинёт ризу на плечи, подберет штаны, – и бегаёт с утра до вечера по улицам, шлепая туфлями или кошами стуча, подергивая плечами, с посохом, четками своими крупными погромыхивая, все рыскает, не посчастливится ли где на покойника или на крестины, не пахнет ли пловом с бараниной, ягненком жертвенным, – и уж он тут как тут: чихает, кашляет, хлопает себя по ляжкам, по голове, сокрушается, – а смотришь, он уж дверь высадил да и ворвался; стал, как ангел смерти, возле тондыра. Никто не приглашал, сам сел, спросил себе водки, закуски – можно подумать, что половину души умершего самолично взял из греха вытянуть. Еще саван не сшит и покой-

ника-то еще не обмыли, а уж он спешит потребовать плату за похороны и что ему полагается из вещей скончавшегося. Бог не стерпит! Слушай, ты сперва подойди, возьми меня за руку, отечески меня ободри, утешь ласковым словом, а потом бери и душу мою: коль не отдам, будь я наказан.

Ежели у кого званый обед, он сам садится во главе скатерти, ест за пятерых. Как почует запах бурдюка, начинает у него в брюхе урчать. Ну, что ты за человек после этого? Не помрешь же ты с голоду, чтоб тебя и так и сяк! До чего себя допускаешь? Ведь брюхо твое не преисподняя, чтобы все на свете поглотить! «Гора да ущелье – в брюхе поповском» – верно сказано. В уста того облобызать, кто эти слова сказал. В евангелии надо бы их на полях написать, чтоб они читали и разумели. Того гляди, и нас живьем съедят. Ребята наши пастухами заделались, гуляют себе, никто о них не заботится – хоть бы азбуке, хоть бы каракулям их научили. Нет, только о себе самих думают. Так ведь нельзя...

Правда, я читать-писать не учен. Ослом родился, ослом и вырос. Почему я знаю, какой такой поп, какая такая церковь? Эдакие мудреные вещи в мою тупую голову не лезут, – не лезут да и только, хоть тысячу лет мне тверди, хоть помри я, тресни, хоть ноги об камни обей! А вина на том, кто не научил меня читать. Но дело не в одной только грамоте. Говорите, что хотите, но я своей неотесанной башкой так сужу: поедать кривдой нажитое добро да спать целый день в праздности, – это нечестно. Человек должен сам работать, чтобы честно хлеб есть».

Кто слушал Агаси, мог бы, пожалуй, подумать, что он какой-то сумасброд, бездушный, безбожник, человек, отрекшийся от своей веры, – ежели так побивает камнями, так осуждает жалких наших книжников, забывая о том, что они вкушают животворящее тело и кровь христову – да пребуду рабом святой силы их! Они властители душ наших, они очищают и избавляют нас от грехов. Им дарована власть на земле и на небеси, им дано открывать и закрывать перед нами двери рая. Если бы их не было, наши души в аду, в жарком углу огня вечного мучились бы и мучились и чертям бы достались на долю. Если при переправе через висячий мост волосяной не будут они держать нас за руку, мы сверземся в пропасть, и каждый кусок тела нашего попадет в когти тысяче чертей. Что хочешь говори, что хочешь делай, – никто тебя не удерживает! Каждый сам себе хозяин. Но тому, кто о подобном заговорит, зубы надо выбить, чтоб образумился.

Что поделаешь? Деревенский осел, с толстой башкой, с жидким мозгом, грубый, неотесанный, не видал он ни учителя, ни школы. Одна была у него школа – убирать навоз из-под лошади, держать рукоятку плуга, поле пахать да садовничать – больше ничего он не знал. Ежели человек ест не умывшись, месяц за месяцем, день-деньской в поле да в хлеву, – что с него спрашивать, что обижаться и обращать внимание на слова его? Что мужик, что животное дикое – все одно. Ежели человек не знает, как надо креститься – к груди ли сперва приложить руку или ко лбу, справа налево или слева направо, ежели он за целый год всего раз пять побывает в храме божием, – кто на его рыло смотреть станет?

Может быть, причиной всего недовольства Агаси была масленица и то, что служба церковная так сильно затянулась. Может быть, думал он, что его сверстники, другие деревенские парни, уже готовые, на конях и со щитами выехали в поле, а он опоздал. Может быть, именно поэтому так взывал он к справедливости, роптал, разглагольствовал, брал грех на душу – до этого дня ни отец, ни мать голоса его не слышали. Ежели такова была причина, можно и забыть его безумные речи, простить его, – но всякому другому, кто говорит такие нелепости и пусто-словит, надо залепить рот глиной, чтобы знал меру.

Итак, пусть тот, кто слышал Агаси, не гневается и не подымает руки, чтоб ударить его по губам. У других язык и позлей бывает. Но редко у кого такой добрый нрав, доброе сердце, такая душа, как у Агаси.

Он был уже не мальчик, ему было за двадцать лет, но перед отцом и матерью держал он себя, как невинный ягненок. Не было такого дня, чтобы он в чем-либо их послушался, чтобы сказал кому-либо неприятное слово. Когда глаза его встречались с их глазами, он тотчас улавливал родительские мысли и из кожи вон лез, чтоб исполнить их волю.

Все односельчане на него радовались, все клялись его головой. Восхищались им, хвалили его, благословляли. Если с кем-нибудь приключалась беда, если кого-нибудь постигало горе, он забывал самого себя, спешил прийти на помощь. Кусок изо рта вынимал и отдавал другому. Не столько охранял свое собственное добро, свое поле, свою скотину, сколько имущество соседей. Будучи сыном старосты, был он другом нищих и слабодушных.

Заходил ли сирота в их дом, он расстилал скатерть, открывал кошелек; если у кого-нибудь не было плуга, он отдавал свой, не было быка или подпaska, – посылал своих. Если у кого-нибудь не доставало денег, чтобы нанять работников обрезать лозы, вскопать или закопать, или же откопать снова по весне, он сам собирал деревенских парней и шел без зова, без просьбы, делал там дело, и хозяин, придя в свой сад, изумлялся, молил о ниспослании ему счастья в жизни, – ибо, если в нашей стране не закопать вовремя виноградные лозы, то они все погибнут. Многие отцы и матери завидовали его родителям, видя у них такое доброе дитя. Где случалось какое-нибудь сборище или расстилалась скатерть, он всегда был впереди других, веселил и развлекал.

Отменный рост его, темные-претемные очи, брови, словно пером расчерченные, лицо красоты бесподобной, сладкая его речь, приятный голос, широкие плечи, высокое чело и золотистые кудри всякого сводили с ума: кто посмотрит, – изумится, не может наглядеться.

Когда брал он в руки саз, в тог же миг камни, деревья – все начинало дышать, одушевляться, говорить.

Правда, от солнца лицо его загорело, утратило свой нежный цвет, но когда он смеялся, когда раскрывал глаза и подымал брови, казалось, распускается роза, от лица его исходило сияние.

Пуля из его ружья никогда не знала промаха. Сердце у него было столь доброе, что он понапрасну не убил бы птицы, не задавил бы и муравья, но разбойники-враги день и ночь притесняли сельчан, и если случалось, что тюрки забирались в сад, чтобы убить его или его соседа, тогда где бы он ни был, хоть на самом небе, являлся в ту же минуту; стоило позвать его с другого конца села, он мгновенно был тут как тут, и если словами не удавалось уладить дело, тогда показывал свое умение владеть шашкой, ружьем и руками, и враг смирялся, как побитая кошка, или же попадал в давящий чан, где его и хоронили, – и концы в воду, ибо тысячу раз было испытано и замечено, что пока тюрка не побьешь, он тебе другом не станет.

Такая была у него сила, что он хватал взрослого мужчину за пояс и подымал, как цыпленка, выше головы: повертит, бывало, и вновь опустит. Когда садился на коня, то стоило ему поднять руку, как лев-конь сам сгибался и подставлял спину. Пять человек могли на него напасть, а все не скрутили бы могучих его рук. Одним ударом шашки рассекал он шею буйволу или быку, да так, что кончик лезвия врезался в землю. Часто одной рукоятью шашки отгонял он прочь двадцать разбойников. У тюрка при одном его имени все печенки отрывались. Возникла ли драка, сколь часто при одном его голосе дерущиеся разлетались, как мухи, рассыпались в разные стороны, с глаз долой!

Ему дали прозвище «аслан баласи» (сын льва). Если б пустить его к разбойникам и грабителям, даже связанного по рукам, и то остался бы он цел и невредим.

Но при таких удивительных качествах все же с детьми он бывал ребенком, со взрослыми – взрослым.

Он так стоял перед ханом или шахом, так держал им ответ, словно рожден был царским сыном. Никогда не исчезали с его лица смех и радость, так чисто было его сердце, так безмятежна совесть, так праведна душа. Каждое слепо его было, что бесценный алмаз.

Многие матери мечтали взять его в зятя и окружить заботой. Молодые девушки, услышав голос или одно даже имя его, готовы были душу ему отдать. Часто, когда, идя за водой или стоя на крыше, видели они шедшего мимо Агаси, думали, что это проходит ангел и замирали, очарованные. Слыша его голос, видя стройный его стан, все загорались, теряли рассудок, готовы были душу свою вынуть и ему отдать. Когда пели «Джап гюлум», ворожили или гадали, он один бывал у всех на уме. Его одного видели во сне и просыпались, вздыхая от любви к нему.

Ежели какой-нибудь из девушек перепадало из его рук яблоко или роза, она хранила их за пазухой, если даже они уже гнили или засыхали, – засыпая, клала на подушку, просыпаясь, нюхала, прижимала к груди и к лицу. Когда он бывал где-нибудь в гостях, то с тысячи мест, сквозь щель в стене, с порога, из-за угла, очи девичьи только на него и глядели. Не каждая ли желала тогда, чтобы рука Агаси коснулась ее руки, дыхание его слилось с ее дыханием, либо пашка его вонзилась ей в сердце, чтоб поскорей стала она ему жертвой, чтоб Агаси похоронил ее, чтоб сердце Агаси о «ей болело, чтоб слезы Агаси над ней проливались, но увы! – Агаси давно уже исполнил свое заветное желание, а их мечтам суждено было при них оставаться. Все село такую пыла то к нему любовью, что даже песню о нем сложили – сами пели и детей учили:

Джан-Агаси, ты наш венец,  
Глаз от тебя не отвести.  
Свет обойди с конца в конец —  
Нигде такого не найти!

Мы рады жизнь тебе отдать,  
Тебя лелеять, ангел наш,  
Мы будем и в гробах зывать,  
Тебе всю душу предавать.

Ты небу свет и блеск даешь,  
Цветам – их душу, аромат.  
И если мимо ты идешь,  
Все горы кланяться спешат.

Твой саз услышав, соловей  
И роза плачут, полюбя,  
И бьют себя по голове, —  
Им горе, если нет тебя.

Пока мы живы, свет ты наш,  
Над нами кров всечасно твой,  
И мертвым ты покой нам дашь,  
К нам на могилу став ногой.

Украсить дом таким сынком  
Завидно было б и царям,  
И в прах при имени твоём  
Свирепый враг сотрется сам.

В лучах лицо твое светло,  
Ты солнцу мил, наш дорогой,  
И облака, раскрыв крыло,

Твоей любят красой.

Из дома ли выходишь ты,  
Все очарованы кругом,  
А если речь заводишь ты, —  
Все шепчут, за тебя умрем!

Пером писалась бровь твоя,  
Чинаре твой подобен стан  
Все в восхищенья от тебя  
Сюда, сюда, скорее, джан!

Однако, что бы ни делал Агаси, дома он вел себя как настоящая молодница. Правда, на сей раз малость разошелся, – но и то по случаю масленицы

Ключи от винного погреба, а также и от кладовой были в кармане у матери. А она все упорствовала, все упрямылась: пока не кончится церковная служба, хоть помри, капли воды не даст. Молодая его жена уж и так, и эдак старалась, – но что могла она поделывать? От нее, бедняжки, ничего не зависело.

Неумолимая свекровь ни на кого не смотрела, никого не слушала. Все собственными руками приготовила: водку, вино, курицу, яйца, баранину, – но пока не кончилась служба в церкви, горе тому, кто, пройдя мимо, до чего-нибудь пальцем дотронется!

Навели порядок, и в саку разостлали ковер, затопили бухарик, подмели во дворе и в доме: сегодня приглашены были сюда сельские старейшины, – каждый по очереди угощал других день за днем всю масленицу – так уж было заведено. Агаси поставил человека на крышу, и тот давно следил, когда же наконец выйдут из церкви. Как только слуга завидел белые чадры женщин, он поспешно вбежал в дом и обрадовал молодого хозяина.

Но мать стояла на своем, поступила-таки по-своему: не дала Агаси даже пошевелинуться, пока бабушка Сарахатун не вернулась домой, не отложила в сторону свой псалтырь и чадру, не сказала всем «Господи, помилуй» и не оделила всех просвирой.

– Да не прогневается на вас бог, – вы мне сегодня всю душу вымотали, замучили вконец, – пробормотал Агаси, положил в рот кусочек просвирки и, не дожидаясь прихода гостей, выскочил из комнаты и исчез за порогом.

Добрый конь, видно, за честь себе почитал держать на спине такого наездника. Не успел Агаси коснуться ногою стремени, как конь согнулся и начал игриво мотать головой, бить копытами землю, высекать искры подковами, ржать, фыркать – и так сорвался с места, словно крылья у него отрасли.

Товарищи Агаси тоже собрались вместе и все приготовили: ждали своего старшего, однако начинать пир не осмеливались, видя, что почтенные старейшины по выходе из церкви все еще стоят посреди села, беседуют, толкуют каждый о своей злобе дневной.

– Никак-то не уберутся эти старцы беззубые, не дают нам старикашки успокоиться и за свой пир взяться! – сказал один, всердцах скрежеща зубами. – Сами, ишь, одряхлели, молодость свою забыли, вот и не хотят того, чтоб и мы пожили в свое удовольствие!.

Но староста Оганес, человек опытный, искушенный, с бородой и волосами, поседевшими от тысячи всяких злоключений, тысячу раз побывавший во всяких переделках, стоял степенно, гордо и наказывал сельскому рассыльному, что буде появится какой тюрк, он бы его свел куда-нибудь и угостил, да чтобы за той собакой хорошенько присматривал, – не укусила бы кого. Потом, забрав с собой попа, все потихоньку двинулись к его дому.

Как только они удалились, так для наших молодцов и звезда блеснула.

## 2

– Старейшины идут! Эй, вы! Отойди, посторонись, дай дорогу!.. – так закричал рассыльный Котан, слепой на один глаз и до того криворожий, что одна половина бороды, спутавшись, торчала у него на лице, а другая прилипла к шее до челюсти, да там и присохла, – вот до чего много говорил он и орал на своем веку.

Сам царь не столь торжественно входит в палаты своего дворца, как старейшины нашего села входили в свою теплую саку, – а на многих из них всей одежки меньше было, чем на два рубля.

Кто был обернут в неразорвавшуюся за десять лет, истрепанную бурку, кто накинул на плечи во многих местах заплатанную, изношенную курдскую абу, которою, правда, рот и борода покрывались, но пониже пояса – куда там! Рваная, из жидкой шерсти чуха в тысяче мест свисала ключьями, и они так трепыхались от ветра, что, казалось, будто он хочет и их унести с собой.

А на голове у каждого – словно целый баран насажен? Кто был малость пожирней, побогаче, у того ноги и голова были вроде как в порядке, все-таки была на них, сколько бог послал, можно сказать, одежда: новые лабчики, штаны из темно-синего миткаля с вышитыми краями; чуха светло-синяя из тонкого сукна или езидская капа тоже из синего миткаля; белый полотняный либо шерстяной кушак. Ворот рубахи у кого канаусовый, у кого полотняный. Архалуки, правда, заплатанные, но не больше, как местах в десяти-двадцати, – и то заплатки разноцветные, где красные, где желтые, где в полоску, так что иные архалуки можно было принять издали за пеструю попону или за полосатый кошачий хвост.

Но всего примечательней, на каждом из них была шуба из шкуры гиены. Снаружи нагольная, красного цвета, как хной окрашенная окладистая борода турка, все тело прикрывала, голого места не оставалось. Полы и свисающие с плеч узкие рукава – точь-в-точь ослиные поводья – доходили до самой земли и начисто подметали место, которого касались, превращали его в зеркало. Меха на каждой шубе было с пядь толщиной, но, увы, от обильного солнца да от дождя он в такое пришел состояние, так выцвел, так вылинял, что похож стал на шкуру какой-нибудь шелудивой лошади. А пыли да грязи на такой шубе – за целые десять лет! У многих на плечах и спине зияли огромные дыры, шерсть и волос оттуда повывалились, – можно было подумать, на первый взгляд, что это верблюд по весне линяет.

У иных на папах шкура совсем стала чалой и из верха повыползла шерсть, так что при малейшем дуновении каждая шерстинка взлетала в воздух и кружилась над головою.

Но тем не менее нельзя было не радоваться, видя, как староста, да и большинство других старейшин, заломив шапки набекрень, надвинув их на правое ухо, с удовольствием перетягивали с плеча на плечо свои пятиовчинные шубы, потряхивали головой, чтоб папахи не дурили, знали свое место и держались прямо.

Нет-нет угощая друг друга понюшкой табака или же засунув руку приятелю за кушак, либо обняв его за шею, припоминали они свое детство, шутили, подталкивали друг друга, свистели, прищелкивали, фыркали, чмокали, кричали, а то и хохотали, гоготали, гремели и гудели вовсю.

Многие до того досмеялись, что в спину вступило, – словом, пока из церкви до дому добрались, чуть ли не год целый прошел: всё они по дороге останавливались, то там, то тут, беседы беседовали.

Я уже сказал – и это правда, – что многие, хоть и обуты были в трехи, но без чулок – нечем было голую ногу прикрыть. У иных на чухе заплат было, право, с тысячу. На руках, на лице, в бороде накопилось навозу да грязи, да пыли, да сору всякого, видно, за добрый десяток лет.

У многих во рту и двух зубов не осталось, до того бедняги состарились. Что ж поделаешь?

Зато у каждого и дом и погреб битком набиты, трещат от всякого добра, – благодать божья, разве что змеинового яйца не найдешь.

В ряд стоят карасы с вином. Закрома полны хлеба, дойные коровушки и буйволицы с телятами да буйволятами – в хлеву на привязи, есть и добрый конь в конюшне и плуг со всей упряжью во дворе.

В кладовке грудями дыни, арбузы, груши, яблоки; всякие плоды висят связками. Как войдешь да обдаст тебя всем этим ароматом – так одуреешь.

Когда новобрачная с молодым мужем или какой-нибудь гость дорогой клали голову на подушку среди этой живительной благодари, чудилось им, что засыпают они в раю и в раю просыпаются.

У кого два, а у кого и три сада было, и работник, и пастушок всегда при доме – во всем доме гул стоял.

Карасы с когаком нашим севанским полным-полно. В горшках тебе и сыр, и каурма в особых кувшинах, и зох, и бох, и вохормакот. В других – масло, и топленое тебе, и сливочное. Тут же сыр в овечьем меху – что говорить, не дом, а море разлитое!

Если б и десять гостей зараз в такой дом понаехало да стали бы они целый месяц есть и пить да посуду бить, все ломать да портить, так и то добра и припасов у хозяина не убавилось бы.

Бывало, ежели какой чужанин, совсем сторонний человек, проходит мимо их дверей, хозяева уж его за руку тащат – непременно к себе зазовут, чтоб он с их стола отведал, а уж потом и отправлялся своей дорогой.

Увидя, бывало, в церкви заезжего человека, дослушают «Свят, свят, свят» – и станут на паперти, каждый старается первым заманить его к себе в дом.

Если желающих оказывалось много, тогда приходили к соглашению, – и недели на две, бывало, задерживали гостя: один день у одного попируют, другой – у другого, а то и все вместе его угощают, веселят, ублажают сердце чуждадельного человека.

У многих бывали и отары овец.

Иные в год продавали литров двести-триста груш, яблок, абрикосов и столько же раздавали беднякам и прохожим людям. Сохраняли еще и для врачевания, чтобы неимущий люд с гор – турки ли, армяне ли, у которых садов нет, – могли прийти, ежели захворает у них кто-нибудь, взять плодов и отнести своему алчущему больному, – чтоб не напрасно он ждал и надеялся. Ведь в нашей стране, чем бы ни хворал человек, его первое и последнее лекарство – плоды. Не будет плодов, ничего его не спасет, и язык его во рту засохнет, либо он и вовсе умрет, так и не утолившись.

Каждый особо выделял толику вина из домашнего запаса на нужды церкви, а также раздавал крестьянам, если в их селе садов не было, чтоб они души сродственников его поминали за упокой.

В канун пяти великих церковных праздников резали жертвенного барана или корову, заказывали требы, обедни, платили деньги попам и всем домом ходили на могилы близких своих, служили там панихиду и кормили нищих.

Ничего почти на базаре для дома не покупалось, кроме разве одежды, да и то холст либо ткань на мужские рубахи или чухи, большею частью молодухи да девки пряли и ткали дома, и шили сами.

А на жен поглядеть – с ума сойдешь! – утопали в шел куда атласе. Мужья сами себе во многом отказывали, а жен с ног до головы содержали в чистоте и опрятности. Мужчина всё в поле да в поле – на что ему? А женушка должна всегда быть в приборе, – чтоб все было на ней как следует.

Частенько, один назло другому, наряжали они и украшали жен своих, как весеннюю розу: шагреновая обувка, иногда и красные башмаки, шелковые шаровары, обшитые золотым позу-

ментом, алая шелковая же минтана, золотом шитый лечак, каламкардовый архалук, шуба соболья, серебряные пуговицы и запястья, расшитый ошмаг, лента бархатная с монетками, и на лбу оборочка, и на шалварах оборочка, воротник с узором, пояс золотой, кольца с яхонтами, ожерелье из янтарей или кораллов, – а между ними продырявленные золотые, и рублевки, и двугривенные; нагрудная булавка, серьги в ушах тоже из золота, а иногда и жемчужные; края минтаны также нередко жемчугом обшиты.

У многих в волосах и на голове всяких украшений да убранства на добрых пять туманов! У многих – нитка на лбу с монетами из чистого золота.

У каждого жена и дочь – словно хановы или бековы дочери.

Было у каждого в доме по четыре, по пять снох – и ежели заболит у него что, все они вокруг него хлопочут, ухаживают, готовы ноги ему вымыть и ту воду выпить. Стоило только ему подставить голову или спину, снохи и дочери наперебой норовили почесать его или поискать ему в голове.

Снимал ли он трехи или лабчины, каждая спешила делать то, на что горазда. Одна растирала ногу, другая грела воду, та подносила кувшин, чтобы вымыть ноги и голову, та, засучив рукава, лила ему воду на руки, эта подавала полотенце, та подвертывала ему рукав, та прибирала одежду, еще одна стелила постель и укладывала его спать.

А когда, бывало, он спит, – разве могло такое случиться, чтобы муха пролетела мимо него или села ему па лицо? – до того внимательны были снохи и дочери.

Когда случался в доме гость, такая же честь оказывалась и ему, – разве посмели бы они поднять на него глаза? Если он выражал какое-нибудь желание, они не то что бегом, а стремглав бросались поскорей исполнить. Сложив на груди руки, стояли и смотрели в оба, ждали, не прикажет ли чего хозяин или гость. При одном взгляде свекрови или свекра готовы были тот же растаять на месте, до того велико было их послушание.

– Вот это счастье, так счастье, – а деньги, что в них? Будь они прокляты и те, кто их чеканит! – нередко говаривали сельчане и качали головой: и съест нельзя, и на себя не наденешь! Нынче набьешь карман, а завтра, глядишь, соси палец. С ними нет тебе ни ночью сна, ни днем покоя. Кусок в душу нейдет, словно брюхо у тебя разболелось. Деньги – это ржа, грязь на ладони. Сегодня есть, а завтра – поминай, как звали. Помрешь – и достанутся волкам да собакам. Что денег отведать, что собственного мяса съест, – одно и то же.

А к нам, гляди, и сардар заходит, и богатей. Имелся бы в корыте хлеб, в карасе – вино, в мешке – мука, а там – будь я гол, как сокол! Да пропади моя голова, если я стану тужить. Был бы дом мой полон, была бы в доме благодать, дети были бы живы-здоровы, и пусть тысяча людей ко мне приходит, тысяча уходит, – разве это мне в тягость? Хлеб – божий и я тоже. Кому приведется, тот пусть и ест, – слава богу, в запасе много еще кой-чего. Были б сыновья здоровы, да сам я жив. Как может господь урезать пищу у своего творения? Я шапку набекрень заломлю да свое и наверстаю. Пускай ленивый тужит.

Нет, нет – кто деньгам предался, у того ни души, ни веры нет. Что деньги, что прах – всё одно.

Вон у золотых дел мастера П. много денег, – так что ж, разве он выше меня хоть на сто-лечко? Или лучше моего живет? Кривой его глаз про то знает. От забот у него кожа с лица сошла, сам в шепку превратился, спина к животу прилипла, зубы торчат, глаза ввалились. Ветерок подует, – так он весь съежится, в клубок свернется. Зажми ему нос – из него и дух вон.

Нет, ежели за год, не покушают моего хлеба тысяча таких и сяких, тюрков да армян, нищих да странников, да чужаков всяких, ежели не поспят они в моем доме, не выпьют моего вика – да разве могу я уснуть спокойно? А разрой хоть могилу мою – слова не пророню.

Изобилью моего сада конца-края нет, – и в Тегеране и в Стамбуле сад мой знают. Как же можно другому отказать? У меня так заведено: ешь сколько влезет да еще полный мешок и хурджин вдобавок должен домой к себе отнести.

Сам дерево посадил – сам под ним спишь, сам плоды взрастил – сам ешь: что может быть лучше этого на белом свете. В новое не одеваюсь, по мне и старое хорошо. Кто мне может помешать? Кто меня по голове бьет одевайся, мол, в шелк да парчу? Разве ж я не хозяин своей головы?

Войдешь в город, – покажется, что голод в мире: ни тебе довольства, ни благополучия. Да коли хлеб и воду за деньги продавать, так куда ж деваться, кому руку протянуть?

Видел я не раз, как в лавках лежат кучками рублевки, золотые, всякая денга, – так вот, как начнет хозяин эти деньги пересчитывать, у него всякий раз душа будто из тела выходит, – ведь вот до чего трясутся они над своей казной! Подумаешь, деньги – крылатые, гляди, улетят!

А протяни-ка руку такому человеку – да будь я собачий сын, да не удостоюсь я горсти праха, если неправду говорю, – свидетели бог и земля, и небо, и море, и суша! – не подаст тебе и соломинки в глаз ткнуть. Тьфу! Человек должен душу свою продать, чтоб на деньги зариться.

Тысячу лет будешь стоять у дверей самого милого тебе человека, гнуть шею, с голоду помирать, тысячу лет будешь икать на пустой желудок – так ни один тебя в дом не пригласит войти, водой холодной не напоит'..

Даже если он в доме у тебя ел, пил, месяцы, годы целые хлеб-соль твою делил, как встретится с тобою глазами, так будто его пулей сразит. Повернется к тебе задом и посмотреть-то не захочет. Ну тебя к черту – и деньги твои и тебя самого! Подлец ты эдакий! Положим, ты ослеп, не хочешь признать меня или к столу пригласить – уподи камень тебе на голову! Чтоб еда тебе через нос вышла! Молю бога – да постигнет тебя злая язва на том свете, чтоб ты ослеп от нее, – как уж трудно тебе поздороваться, доброго здоровья пожелать, что морду воротить и бежишь назад? Ну скажи хоть «доброе утро», «добрый день» – ведь с уст твоих платы не требуют! Чего ты стоишь столбом? Ведь даром, не за деньги! Эх, ты, деньгоед, мироед! Положим, моя чуха не из тонкого сукна, а простая шерстяная да старая, поношенная, а твоя новенькая, из зеленого сукна наилучшего – так ведь не отнимаю же я ее у тебя! Таких, как ты, франтов, тысячи – так пусть поклонятся они моей бедной чухе: она без гостя не обедает. Попадись ты еще когда-нибудь мне в лапы, знаю, куда твоего коня поверну! Погоди, может, еще ветер занесет тебя в нашу сторону – тогда увидишь.

А когда ситцы мы покупаем, – ведь так и норвят последний наш пятак заработанный отнять.

Ну и времена! Видано ли, слыхано ли это было в прежнее время? Ягненок и волк вместе наелись, а теперь быка подымают – посмотреть, есть ли под ним трлзнок или нет. Конь падет – так спешат подкову с него содрать. Кому поведаешь свое горе?

Отец не признает сына, сын – отца, брат – брата. Хороню, что хоть камень на камне пока лежит.

Человек должен сам делать добро – тогда и господь пошлет ему удачу.

А все ж таки, да благословит всевышний нашу землю и нашу воду! Если есть еще на свете у кого душа, вера – так это у нас.

Будемте же есть, пить, пировать, друг другу почтение оказывать, друг на друга радоваться – тогда, коль не помянут нас добром, так, авось, хоть лихом не помянут...

Что человек сделает, то и от других увидит. Сделаешь добро – добро увидишь, сделаешь зло – и тебе будет зло.

Сто лет тому, как блаженной памяти Апов скончался, а его все поминают, и добром поминают. И тюрк, и армянин могилой его клянутся.

Большой был у него сад у проезжей дороги – слава об этом саде до самого Индостана дошла. А насадил он этот огромный сад собственной своей рукой, чтоб всякий путник пользоваться мог его благами.

Каждое утро четыре садовника все опавшие плоды собирали, выносили в больших корзинах на дорогу, да и наполняли путнику его хурджин и карманы. Из этого огромного сада – а

сад был, как настоящий лес – хозяин ни одного плода, ни одного стакана вина для своего дома не употреблял – все это держалось отдельно и раздавалось сельским беднякам.

Что унесем мы с собою из этого суетного мира? Ни с чем пришли, ни с чем и уйдем. Если даже много у меня имущества, много богатства, если стал я одним из великих мира сего, все равно придется сойти в могилу. Мое достояние – горсть земли да полотно отрезок. Буду хорошим – скажут: хорош; дурным буду – скажут: дурен.

Батюшка, дорогой, – обратился он к священнику, – правду говорю или неправду? В грамоте я черного от белого не отличу. Но коротким своим умом так-то сужу о делах мирских. Кому не нравится – его воля, всяк сам себе хозяин... «Кеф санын, кянд кёхванын» («Над собой ты сам волен, над селом – староста»). Турок проклят, а слово его благословенно. Что скажешь, староста? Ежели неправду говорю, бей меня по губам, дери за ухо, ты сам знаешь – твой попрек для меня что ласка, одного волосика твоего на целый мир не променяю. Ежели неправду говорю, так и скажи: – «Несешь, мол, окоlesiцу!» Я и замолчу.

Правда, не было надо мной глаза, – ни учителя, ни монаха ученого, – но у моего блаженной памяти покойного родителя было ума в голове на десяток ученых монахов. Все, что, бывало, говорит, будто в евангелии на полях прописано. Всю библию в нутре своем держал. Скажет слово – и тысячу свидетельств разных приведет. Что часослов, что шаракан, и псалтырь, и четьи-минеи – всё знал назубок. Кабы собрать сто философов, да ученых монахов, да попов, – так он всем бы им рот заткнул да подобру-поздорову и выпроводил бы. Что на том свете делается, и о том мог рассказать. Придет к нам в село сборщик какой-нибудь за податью, так, бывало, прячется, только чтоб в руки отцу моему не угодить, не то – спаси, бог! – душу всю вытянет, вконец замучает: тот позабудет, по какой дороге пришел.

Ежели я теперь со своей дурьей головой так ладно болтаю, так это все от него, – а сам кто я такой? Что могу знать?.. Это не дело – утром, чем свет, пойти в церковь, положить земных поклона два-три да и выйти; в книгу заглянуть, позевать, а коли спать хочется, так на мягкой постели валяться, есть, пить, пировать, так что брюхо раздует и голову тоже, – а потом на нас же напускаться: дайте, мол, нам все, что трудом заработали, чтоб нам вкусно есть, хорошо одеваться, – носить да изнашивать, – за вас молиться. Братец ты мой, попик, душа моя, свет ты мой, есть у тебя молитва, так держи ее про себя и молись про себя. В долг что ли ты нам дал, – чего ж ты обратно требуешь? На худой конец, скажу: боже, каюсь перед тобою.

Бог не на их губы говорящие смотрит – на сердце смотрит. Как подымется вопрос про брак, законен ли он, ежели родство близкое, так попы готовы дом наш разорить. Ну, положим, бывает родство близкое – так разве ж деньги могут сделать его дальним?

Мы рот закрыли, знай, слушаем, что они нам говорят. Мы, допустим, молчим, – да разве бог-то сверху не видит?

Что же это такое? Сам я буду плов жрать, а тебя по башке колотить? Сам буду мацун хлебать, а тебя вором-котом называть?

Конечно, они лица духовные, мы их не обижаем, потому – от монашеского проклятия и камень трескается, только сами-то они должны малость себя сдерживать.

Вот севанские отшельники – ничего не скажешь, хорошие монахи, вина в рот не берут, вкуса не знают мясного, одежда у них из грубой шерсти или из суконца домотканного, спят на голой земле. А лица у них светятся. Дашь – благословят, не дашь – все одно благословят. Зайдешь к ним – заговорят о делах благочестия. Завидят лицо женщины – так за две версты в сторону отбегают. Чтоб про баб или вино, про деньги там, или лошадей, или еще про что заикнуться – так никогда.

А наши, здешние, сами на резвого коня сесть не прочь, в шелк да в атлас наряжаются; сладкий плов и тысячу всяких кушаний вкусных да напитков разных в употреблении имеют.

Зато когда у кого дело до них, так готовы голову с тебя снять, – так ни Христос, ни Магомет не поступали. Что же это? Значит, я только и должен, что деньги совать, чтоб душа

моя в рай вошла? Ну, а если я дурной человек, если я творю беззакония, неужто по единому их слову господь-бог должен душе моей все грехи отпустить? А на что богу деньги – да святится имя его? Деньги нужно подавать бедным. Лучше их вовсе выбросить, чем отдать человеку, который тебе и спасибо не скажет.

Тысячу дней принимай их у себя, угощай, – а зайди сам к ним в дом, так глотка холодной воды не удостоишься. Нет, этого бог не попустит! С нас же дерут, приятелей своих и родственников устраивают и на нас же еще наговаривают.

Положим, мы на все это не обращаем внимания, соблюдаем пристойность, это так, – но сыновья-то наши растут ослами, никто об них не позаботится, школ не открывают, не обучают, одного хотят: всё отнять у нас, что нами честно нажито.

Пойди-ка ты в мечеть: каждый мулла, даром что нехристь, глядишь, собрал вокруг себя сорок-пятьдесят и больших и маленьких и с утра до вечера их учит, толкует им вопросы их веры. А наши только за своим удовольствием гонятся. Чье же деяние больше богу понравится, я вас спрашиваю?

И говоришь, и умоляешь – ухом не поведут. А сыновья наши такие же, как и мы, – как ослы жрут, как ослы растут. Сами мы несведущи, чтобы их обучать. А кто сведущ, уши заткнул. К кому же обращаться?

Если я вру – эй, все, кто тут! – запустите пальцы и вырвите мне глаза! Народ наш в таком жалком состоянии, обречен мечу и огню, все потому, что никто нам не объясняет, кто мы такие, какова наша вера, почему мы на этот свет родились. Слепыми приходим, слепыми и уходим. Вон курица тоже сто раз на дню когда воду пьет или крупку клюет, головой кланяется – да что ж от этого пользы?

Кто не знает, что есть на небе господь-бог, судия праведный? Но мы должны также знать, что делать нам на этом свете, чтобы судия тот нас не осудил. Не так ли, братцы, – сами посудите?

Я виноват, пусть так. Но ведь самый последний тюрк большую часть корана наизусть твердит, а я «Отче наш» прочесть не умею. Откуда же мне знать, где по кончине будет душа моя, где тело? Чему же мои бедные дети у меня научатся?

Да всего не скажешь.

Нельзя, конечно, совать себе палец в глаз, бить себя кулаком по голове да по щекам – но что же мне делать? Сердце мое разрывается, как вспомню жалкое наше состояние. Пускай они и меня, старика, научат и сыну моему дают образование, указывают нам путь, а не совращают с прямой дороги, не отталкивают от веры нашей. Да пусть я черту достанусь, пусть лишусь земли горсти и куска полотна, и церкви, и обедни, ежели им тогда не отдам за это все: глаз моих пожелают – глаза выну, отдам; сына захотят – и сына зарежу, в жертву принесу...

– Будет тебе разговаривать, сват Арутюн, – сказал староста, – кому говоришь, кому? Тысячи у нас всякого народа, которые ни грамоты не знают, ни силы се. Наша звезда уже закатилась, какими пришли, такими и уйдем. Каждое твое слово – алмаз, да кому оно нужно? Вон у волка над головой читали евангелие, а он и сказал: скорей читайте, – стадо уйдет! «Билана бир, билмнана бин» – сказал тюрк («Разумеющему – раз скажи, неразумющему – тысячу раз»). Кому станешь плакаться? Да кому и окриветь охота?

А ежели слова твои не достигают цели, зачем же зря голову терзать? Не жалко тебе своего рта? Какой толк, скажи на милость, камню проповедь читать хоть десять лет подряд? Разве на него подействуешь? Да упокоит господь души родителей наших, что научили нас хоть в церковь ходить, а то бы мы так и росли, как звери дикие. О таких вещах год можно толковать, все конца не будет.

Пойдем-ка ко мне, закусим, чем бог послал, выпьем за помин душ родительских, – авось когда-нибудь господь над нами смилостивится. Не может же век так быть!

Идем, идем, а то скоро пост великий – тогда беда: сиди да ешь соленье, грызи морковь, пропихивай силком в рот Да в живот. Пока масленица, пировать надо.

Л там пусть будет, что богу угодно. Пускай хоть остаются на своем месте и богач, и монах ученый. А что не делают добра, пусть не делают. За их грехи с нас не спросят, от нас отчета не потребуют. Кто знает, что с нами завтра стряется? Человечину едят, кровь пьют. Спасайся, уж кто как может. А наша опора – бог, он нас не забудет, так дело, не оставит.

Худо нынче, плоха дорога, – а завтра будет свет, и многие матери тогда заплачут.

Если дорога твоя пряма, иди и иди по ней, как бы она длинна ни была, с прямой дороги не сворачивай. Не то, колипустишься по горам да по долам, плохо будет, много испытаешь бед всяких. «Йолдан чхан гйози чыхар» («Кто с дороги сойдет, у того глаз пропадет»)...

Идем, идем ко мне, посмотрим, чего там наша хозяйюшка наготовила – бедняжка всю ночь глаз не смыкала, шныряла туда-сюда, колесом вертелась!..

– Дай бог здоровья нашему старосте! Кабы не он, этот человек вконец бы нас извел!.. – послышался с другой стороны голос одного из собеседников. – Покручивая усы, нюхая воздух, мотая головою, он с аппетитом глотнул слюну, кашлянул и продолжал: – Уж пять часов, как обедня отошла; небось, вороны и те успели раздобыть кусочек мяса или дряни какой-нибудь, да и съели, а у нас только в животах бурчит да в ушах жужжит; с одной стороны мороз тебя за икры щиплет, с другой голод напирает, – а он, ишь, тянет да тянет, как мельница на полном ходу – мелет да сыплет из головы. Чуть было не прервал я его, не сказал: – укороти хвост – караван уйдет, поубавь жерновам ходу, завяжи рот,, усмири язык; коли тебя ветер распирает, – ступай домой,, пускай уж там и дует, а нам ветра хватит, ноги, руки совсем заledenели, как деревянные.

Сущее наказание, право! Хочешь разговаривать, – говори у себя, за курсой, чтоб можно было и слушать, и спать. А ты, как торгаш какой пристаешь! Мы и сами хорошо знаем, где пропавший осел привязан, да что поделаешь, ежели близко подойти нельзя, – шею тебе сломают, а ослу – гляди – и ноги и голову остригут до неузнаваемости. Он хозяина видит – ревет, а хозяину говорят: нет, не твой осел!.. Эх, кому тут голову снять?

Есть такая старая присказка: спросили раз верблюда, – отчего у тебя шея крива? Верблюд и ответил: – А что у меня прямо, чтоб шея не крива была?

Стало быть, дело наше такое, – словами разве кого убедишь? Нет, ты сперва достань ярмо да молотильную доску, приготовь гумно, сложи скирды, а уж потом и хватай за ухо шалого быка. Э, брат! тысячу раз уж ты видал, как он с молотильной доской в степь пускается, – чего ж понапрасну голос свой надсаживать и задерживать нашу трапезу? Пахарю надо сначала землю вспахать, разрыхлить, а потом и сеять, – не то черви да птица все твои семена пожрут, и будешь потом затылок почесывать да сосать палец! Ты пчелу окури, чтоб улетела, а то лицо подставляешь, ясное дело, ужалит, да еще как!

Каждый своего коня погоняет, тут уж не смотрит, кто впереди. Свеча под собой освещает. Мир – курдюк, человек – нож. Никто с тебя не спросит. Коль будешь тополь нагибать, он на тебя же и повалится и голову тебе размозжит. И тесак у бочара в свою сторону тешет, и от дерева тень – под ним под самим. Вода своей рыбе приют дает, курица своего цыпленка оберегает. Ну, загремишь ты, как туча – а кто станет тебя слушать? Есть у тебя лекарство, – себя лечи, есть масло – держи в горшке собственном. Что ни делай, что ни говори, – вода себе дорогу найдет. Ты только посередке останешься, дурную славу наживешь.

У правдивого человека шапка в дырках. Не слышал? Любой его по голове хлопнет, шерсть по ветру пустит. Ну, какое тебе дело? Такой же ты, как и все, живот у тебя не выше рта. А коли дыхание у тебя изнутри прет, так ты удержи, молчи. Кто тебе говорит: иди, мерь у нас зерно?! – Так чего ж ты со своей меркой сам лезешь?

Ежели что и знаешь, так стенам дома собственного не доверяй, самой земле не говори, – разгласят, и ты же в виноватых будешь. Что ж делать, коли не слушают? Не можешь же ты из-за этого сам себя убить.

Вот и я – подпаском был, подпаском и остался – накажи бог того, кто не показал мне правильной дороги. Кому же голову рубить, чей глаз выкалывать?

Стоим мы на морозе, дрогнем, а он, знай, дует в свою зурну, – да ты играй там, где пляшут, милый ты человек, а то, коли тут на пустом месте дуть, никто тебе монетки не даст, никто не похвалит.

Ну, староста, поздравляю: вот мы и к дому твоему подходим. Ты, сват Арутюн, не обижайся. Пускай слова мои об горы да об камни стукнутся, унеси их, ветер, на все четыре стороны. А коли обиделся, испей воды холодной, чтоб сердце остыло, – прошу я тебя.

Твоя голова, что гора. Дождь, снег, град ли пойдет, молния ли ударит – тебе нипочем. Мы и сами знаем, что ты дело говоришь, но как тут быть, коли крестьянское слово ни во что не ставят?

Горожанин, – тот тепло устроился, молчит, пьет себе чай, какое ему дело, хоть бы камня на камне не осталось.

Всяк свою шапку поправляет, свою голову чешет. А открой рот, так земли напихают, глаз открой – пылью засыплют. Коль собака своего хозяина не признает, – кому ж сказать? Скажи, кому? Есть у тебя крупка, – так ты ее своим курам дан, есть зерно – неси на свою мельницу. Коли и ты способен, отточи нож и налетай со своего боку. На свете кругом грабеж да обман, а дрянной человек – что ослиный палан. Нет, брат, живи себе да пируй: благо масленица, в голове не прояснится! Ну, иди вперед, а я за тобой...

### 3

Так, подталкивая один другого, приглашая проходить, таща друг друга за руку либо за рукав, ввалились они наконец в дом старосты:

– Благословен бог! Благословенны бобы да горох! Слава изюму господню, всем сердцам – по своим местам, а нашим перстам – так в масло, валяй, петуха на село навьючивай!.. – и, нагнувшись, вошли в теплую часть дома.

Дурной будет, кто не скажет им: – Дай вам бог, хорошо начать, хорошо кончить!

Давайте станем теперь возле двери их теплого саку и понаблюдаем, как пируют наши старейшины. Но что ж поделаешь, коли не позволяют стоять за дверьми? Будь ты вовсе чужим человеком, или даже иноплеменником, – все равно, таков у них обычай: без тебя куска в рот не положат, не пойдешь, рассердятся и разойдутся, пожалуй, по домам.

Войти что ли? Не съедят же нас?

Нет, если и целый год прогостишь у них, все будут они водить тебя из дома в дом, угощать и доставлять тебе всякие развлечения. А на масленицу – да ежели и целый караван пойдет ненароком в село, так вернут его с дороги, и будут тебя держать, и слуг твоих, и лошадей, и сами будут обо всем заботиться, не разбудят тебя, с места не потревожат – до того они гостеприимны!

Айда! Поп коня, погоняй да в конюшню загоняй!.. Зайдем, значит! Отведаем того-сего, поедим плову, покушаем плову, – но только приложи платок к носу, чтоб тамошний дух до сердца, не дай бог, не дошел.

Поторопишься – успеешь сесть, а нет – так стой. Раз на раз не находит, бывает, что и не при чем останешься!

Теперь пойдет шум-гам, кутерьма – всё перепутается. А ты старайся держать голу в руке, а шапку на голове, – не то выйдешь наружу без шапки, – вот тебе и насморк. Ну, коли не будешь меня слушаться, – накажи тебя бог!

В саку было жарко, как в бане! С одной стороны тлеет кизяк, и несет от него жаром, с другой – запах от быков, коров да лошадей, – голова раскалывается, точно ее сверлит кто.

Как вошли гости, с голодным желудком да со слабой головой, с замерзшими руками, ногами, как ударил им в нос густой пар да черный кизячный дым, – все нутро у них так и перевернулось.

Кто зажимал рот, кто – глаза, кто живот себе сдавливал, кто нос затыкал, – а иные закуривали трубку – авось, думали, полегче станет, избавятся хоть малость от этого несносного смрада! Кто чихал, кто кашлял, а кто икал, да так, что и сер тле и легкие зараз наизнанку выворачивались. Что ни нос – барабан, что ни глотка – зурна, что ни живот – то тебе бубен. Как закашляют – так и лицо и борода порыжеют. Чихают – словно дождь идет. Брызги летят во все стороны, – не спрашивают, где у кого лицо или рот, глаза или брови, забывают вовсе, что все это тоже господом богом создано.

Многие, за неимением платков, утирали нос полой, либо сморкнутся рукой – да об стенку размажут. А иные с такой силой втягивали носом, что и дым, и пар, и навозный дух, и пыль всякая клубами вверх по носовым ходам подымались и до самого мозга докатывались.

В это время супруга бедняги-хозяина тоже не захотела ударить лицом в грязь, подобрала подол, утерла нос и вышла сказать гостям «доброе утро» и приветствовать их с приходом.

Услышав такой кашель да чихание, она из вежливости открыла наружную дверь, чтобы вонь и дым хоть немножко вон вышли. Но, право, уж лучше, чтоб она руку себе сломала, чем дверь открывать!

Как только дверь скрипнула, все повскакали с мест, и кто без шапки, кто волоча шубу, зажимая нос и глаза, ни на что не глядя, бросились во двор малость освежиться, не разобрав, что у них под ногами, до того дымно и чадно было в саку. Толчея случилась неопишная.

Они думали, ветер распахнул дверь и не заметили жены бедного нашего хозяина, затолкали ее совсем и сшибли с ног. Поднялся шум, крик. А когда обернулись – батюшки светлы! – не знали, смеяться ли, плакать ли, или на помощь бросаться: жена хозяина тем временем, вся как есть, уюдила в смоляной карас с жидким навозом, точно в адский котел, так что и свободного места не осталось. И нос, и щеки, и лачак, и минтану – все перемарала, можно сказать, до неприличия в благоуханной жиже.

При этом шуме несчастная женщина, думая, что руки у нее чистые, поднесла пальцы ко рту, – опустить немножко ошмаг, чтоб вздохнуть свободно, – но не дай бог врагу твоему, что с ней приключилось! – сладенький кусочек теплого коровьего, а, может, и буйволового, попал ей в рот – туг уж кто не позабудет и святое причастье, и крест, и евангелие! Плевки и всякие скверные слова так и посыпались из ее вымазанных коровьим дерьмом уст.

Наш тугодум-староста до тех пор предполагал, что это телята сорвались с привязи и подняли возню и что хозяйка хочет водворить их на место. Но как взглянул на дверь... Боже ты мой! – дом обрушился на его седую голову!

Староста закричал, заревел, как медведь лесной, и, лупя по головам каждого, кто попался ему под руку, бросился спасать свою сударыню из этого ада, но... – да ослепнет сатана! – запутался ногами в шубе, да и чебурахнулся, шлеп-шмяк, наземь!

Что тут с ним стряслось, – не дай бог врагу твоему! Он так завяз всем ликом в том же скотском медовом горшке, так вымазал себе и глаза, и брови, и рот, и нос, и бороду, что тысяча опытных банщиков за всю жизнь свою не смогли бы столь искусно и прельстительно окрасить их хной.

Сердобольная хозяйка, как увидела позор супруга, позабыла про свое горе и тронулась было с места – помочь своему старику. А старик только одного хотел: чтобы хоть немножко поднять голову с этой сладкой подушки и избавить сударыню свою от срама. Но руки их не сошлись, они как-то столкнулись задами и... – надо бы хуже, да нельзя! – по второму разу шлепнулись в ту благовонную жижу, да так, что и две пары буйволов их оттуда с трудом бы вытащили!

– Ах ты, несчастный! Да похоронить мне тебя! Чего это вздумалось тебе сюда лезть! Мало тебе моего позора, сам захотел туда же. Это тебе не финик, чтоб самому есть, а другому не давать, – чего ж ты надрывался? Пропади ты пропадом! Ничего сделать толком не умеешь, осла ткнуть и то не можешь. Да отвратит от тебя лицо свое и церковь, и обедня, и хлеб, и скатерть, и масленица, и пост! Мы с тобой свою масленицу справили, а эти все пусть убираются, куда хотят, ко всем чертям! Ногу бы им вовремя сломить, чтоб порога нашего не переступали! Что же это с нами случилось! На весь-то мы свет опозорились. Вот это мука, так мука. Теперь что мы, что наш рассыльный Котан, – кто угодно будет на нас зубы скалить...

– Ах ты, старая ведьма! Мало мне своего горя? А ты меня еще с другого боку грызешь! Что язык развязала, за зубами не держишь? Замолчи, а то так ногой пну, что зубы свои проглотишь. Каждый день, небось, с дерьмом возишься, кизяк готовишь, вот и отведай его! Чего ты ко мне пристала? Кабы ты сама тут не искалечилась да живехонько бы вскочила, оба мы были бы от беды избавлены. Что женщина, что яйцо сырое – тронь, расплющется. Кто до женщин охотник, я бы им такое сказал... много слов на язык приходит, да обратно уходит... Господи-боже, прости ты меня грешного, – горе да и только! Вот попали в беду!.. Ну, собирай пожитки, вставай и убирайся, – да на глаза мне больше не попадайся!..

Слушая эти слова, гости так смеялись, так хохотали, что у них сердце под самое горло подкатилось, а у иных ноги стали, как дряблая сырмятная кожа. Кто же при виде такого забав-

ного зрелища закроет глаза и не рассмеется? Гости и сами того не хотели, но – проклятье злобному сатане! – так уж дело обернулось.

Как бы там ни было, гости, держась за животы и прикрывая рот рукою, тоже подступили к хозяину, желая ему помочь. Но он, ворча под нос, с руками, ногами в «хне», сам поднялся и отправился на свое место.

Столько зрелищ случилось, столько событий произошло, – а рассыльный Котан ничего еще не знал. Тут как раз поднялся весь этот шум и гам: – Эй! Неси воды, помогай! Хозяин с хозяйкой задохлись!

Как услышал это молодец Котан, представилось ему, что их дым одолел; подкатился, как клубок шерсти, схватил первый попавшийся горшок вместо кувшина, да как заорет на всех: – Чтоб вашу мать да отца!.. – И, себя не помня, влетел в дом как раз в ту минуту, когда староста только что обчистил себе лицо, отмыл бороду и собирался сполоснуть рот, – в зубах у него все-таки застряло несколько вкусных кусочков. Правда, большую часть он успел всердцах проглотить, и ему драло горло, он кашлял, глотками пил воду, но ничего поделывать не мог – поздно тут кашлять да харкать! Желудок голодный, сам человек пожилой, голова слабая, – и вдруг такой фимиам, такой мед! Вот и вправду, удовольствие, – разумея разумеющий!

Что еще добавить? Разве что наш господин староста, как взбесившийся медведь, вертелся, держась за живот.

– Ах, лопни мои глаза! Дорогой мой староста, – ах, попади я в ад! Ах, ах, ах! В каком ты виде, родимый мой! Неужто твой Котан умер, сгинул, – что ты попал в такую беду?! – воскликнул бедный рассыльный и, скосив единственный глаз, сам скривившись на один бок, полетел к старосте всплакнуть о его беде и пособить его горю. Но только староста собрался закапать ему оплеуху хорошую, подправив ему слепой глаз и зубы в брюхо вогнать, – зачем-де он оста вял хозяина и за своим удовольствием погнался, – как расторопный Котан, и внимания не обратив на какую-то гам затрещину, решил исправить свою ошибку, угодить хозяину – взял обеими руками да и опрокинул горшок ему на голову. Упаси бог, – что тут случилось!

Огромный горшок кислого, густого, пенистого базкатана, целых пять лет стоявшего на погребке, так его всею окатил, что, право, и в день потопа всемирного такого смятении, такого бедствия ни видано не было, ни слыхано. Все ж таки, – староста!., у бедного рассыльного сердце захолонуло Кислятина вонючая так ударила ему в голову), что он на десять шагов в сторону отскочил и, лязгая зубами, весь затрясся, как собака, стащившая запретный кусок; потом, пыхтя, бросился в угол, да так там и остался, точно окаменел или в лед превратился.

Предложи ему в ту минуту норку мышиную за сто туманов, он наверняка бы купил да и залез бы в нее оплакивать свой черный день, от хозяина подальше. Врагу своему того не пожелаю, что с ним тогда было, – а хозяин... – не приводи, бог! – пока не принесли чистой воды, он все муки мученические претерпел.

Борода, рот, спина и пазуха, и шуба, и прочее всё у него хлюпало и шлепало. Карманы и лабчины были тоже залиты до отказа. Спина чесалась, глаза щипало, а стоило ему двинуться, так обе штанины, тоже базкатаном насквозь пропитанные, звонко, с хлюпом, ударились друг о дружку – не то бубен, не то зурна!

Но в таком собачьем положении он все же кричал, ревел, надрывался, размахивал руками, – всё хотел схватить рассыльного и убить. Он стоял у стены, как слепая курица, и то и дело орал:

– Пустите меня, пустите! Я его убью, заколочу, как собаку – будь проклят его кривой глаз! – Этого еще не хватало, чтоб он такую штуку надо мной сыграл. Да я такое с ним сделаю, что у него от уха вот столечко останется!..

Пока принесли воды, все вконец уморились. Многие вовсе ослабели и лежали на спине. Незачем было им обсыпать друг другу лицо мукой или мазать простоквашей, как частенько

делывали они потехи ради. Тут были, можно сказать, и мука и простокваша в досталь. Как раз и жена старостина под шумок вышла, бормоча и ворча, всплакнуть о себе и смыть свой позор.

Люди хорошо знали, каков у старосты нрав, – когда он рассердится, так и ангела не пощадит, не го что какого-нибудь Котана-рассыльного, – и подмигнули попу, чтобы он, пока тот еще глаз не открыл, угомонил его, выгородил бы как-нибудь рассыльного, чтоб можно было потом привести беднягу и дать ему поцеловать старосту в ручку, – авось, уважит просьбу духовного лица.

– Наступила сырная неделя, сват Оганес, и мы, брат ты мой, обезумели, – степенно разверз уста наш достославный поп, надеясь на уважение к своему сану и желая как-нибудь восстановить спокойствие и обоих примирить, – на свете всяко бывает. Ведь не девица же ты – позолота и блеск с тебя не сошли; и не стекло, друг ты мой, не разобьешься, паче же не воск – не растаешь. Будь повеликодушней. Что в самом деле случилось с тобою? Христос в своем свято благовествовании пишет – да ниспошлет он вам всем исполнения желания всяческого! – что «блаженны миротворцы». Неужто ты на голову врага своего будешь огонь сыпать только за то, что он... ай... тьфу!.. ой-ой-ой!.. Ох! Будь твой отец проклят и кто тебя миром мазал! проклятие тебе в семи коленах, да сокрушит господь шею тебя приветствующего и днем и утром! – что же это со мной?.. – вдруг воскликнул поп откуда-то из-под самого бухарика: почесывая голову и трясая бородой. – Ведь на какого проклятущего человека мы сегодня наскочили, все навыворот получается. Проклятие и хлебу тому и той воде – попали в беду да и только. Какой такой огонь нас живьем палит?..

Действительно, несчастный священнослужитель попал в огонь. Когда он подступил к хозяину, чтоб его угомонить, он не подумал, что кровь и злоба помutilи тому взор и рассудок, вовсе его ослепили. Безбожный старик так саданул бедного попа кулаком в грудь, что риза его отлетела в одну сторону, шапка в другую, а сам он на четвереньках угодил прямо в кизячный огонь, и все лицо ему опалило. Рот у бедняги битком набит был золой и пеплом, а борода обгорела до самых корней волос, вся облупилась, так что и за полгода едва ли могла заново отрасти.

Оттого-то и воспоследовали сии сладчайшие благословения, что сам-то поп не выдержал и одного пинка, а хотел нашего пропитанного сывороткой, медом и благовонием старосту наставить на путь истинный.

– В церкви надоедают нам, – так мало того, и в саке хотят власть свою показать, – нешто стерпишь! – воскликнул староста. – Хорош тот, кто вас в священство рукоположил – проклятье сатане, – что это, прости господи, приходит на язык да уходит, приходит да уходит!

Еще долго бормотал себе под нос староста, а рассыльного тем временем увели и спрятали. Да направит его господь бог на правильный путь, чтоб уж он больше таких оплошностей не допускал, а грамотеям нашим пошлет побольше ума да разума, чтобы в таком месте не роняли своей чести.

## 4

Наконец староста открыл глаза и кинулся рыскать по всем углам, чтобы малость утихомирить свое сердце, но» рассыльный уже исчез.

Старейшины, с одной стороны, жена – с другой, обступили старосту, кое-как уgomонили его, помирили с попом, а возвратившийся рассыльный бросился ему в ноги, повинился, поцеловал его в ручку и даже опрокинул водки чарочку.

Дым тоже понемногу разошелся, рассеялся и пар, – все, словом, стало приходиться в порядок. Поп прочитал: «Да хранит»... один из старейшин – «Паки и паки миром»... хозяйка сказала «аминь», староста – «Прости нас, господи...» и «Отец святой, тебя имею посредником», и наконец, когда внесли водку с закусками – у всех сердце стало на положенное ему место. Все, что было, как ветром унесло, закурили ладан, открыли ердыки и дверь, запахи дурные все улетучились, головы разгорячились, и наши господа старейшины сели, наконец, трапезовать. Расстелили скатерть, на одном конце уселся поп, на другом – староста, остальные – в ряд вдоль стены, с поджатыми ногами, так, чтоб остался проход для прислуживающих.

Малый, налив водку, первым долгом поднес попу. Тот перекрестил чашу, благословил, дал сначала испить подносившему, – а подносил не кто иной, как наш рассыльный. Потом сам взял чарку в руку и начал свое благословение:

– Пошли, господи, миру покой, царям примирение, христианам освобождение. Дожить бы нам до того дня, когда будем мы так, всем народом, под русской рукой сидеть и пировать.

– Аминь, аминь! – возгласили все.

– Дому твоему, староста, желаю благополучия, детям твоим долгой жизни. Да сохранит господь незаблемым твой домашний очаг и от злых людей оградит. Ты – венец нашей головы, цветок очей наших. Да будет над тобою благословение отца Авраама, да сподобишься, яко Симеон старец, кончины благодной. Да ослепнет всяк, кто на тебя косо посмотрит, а ежели у кого на тебя злоба в сердце, так пусть ее господь в добро обратит. Что было, то было, и да пошлет господь благой всему конец. Муку, тобой испытанную, да зачтет тебе за покаяние. Сегодня ты, завтра – мы, – мы ведь тоже, как и ты, в беду попали. Кто поссорился, тот испей водицы холодной.

Было бы у меня теплое место, в руках чаша вот эдакая, да на сердце весело, – а там мне хоть жернова на голове верти! Ну, веселитесь, дорогие мои, назло врагам. Поздравляю с масленицей, – да удостоит нас бог и пасхи! Пока возможность есть, пользуйся светлым днем. Не сегодня-завтра великий пост ноги с ердыка свесит, – знай тогда жуй квашеную ботву.

Будьте же все здоровы и веселы. Слава тебе, всевышний, лицом припадаем к стопам твоим. Мы – создания твои, не погуби же нас. Господи-боже, всели ты милость в сердце нашего русского царя, чтобы пришел он и освободил нас. Не дай нам умереть, пока не увидим лиц русских. Будьте все здоровы!

Сказал и опрокинул чару с водкой.

– Будь жив-здоров, в своем сане тверд, дорогой батюшка, хороша твоя здравица и нам всем нравится! – возгласили все и стали предлагать ему – кто сыру, кто кусочек жареной либо вареной баранины, завертывая и то и другое в лаваш.

А поп сперва дотронулся рукой до большого пальца потчующего, потом взял кусок, приложил к губам, затем ко лбу, и, сказав «благословенна рука твоя, дай бог тебе силы», благословил, похвалил и, потягиваясь, положил в рот, разжевал, проглотил, выслушал благопожелания от присутствующих и сам сказал «на здоровье!»

Так чаша с водкой начала обходить по кругу, из рук в Руки, и у каждого в руке целый час сама томилась и томила еще не отпившего, ибо у каждого заготовлен был целый мешок

благопожеланий – а ведь если у кого есть хоть малейший дар слова, – так где ж его испробовать, как не за столом, не за чашей вина или водки?

Но каждое заздравное слово неизменно кончалось так: – благослови, батюшка, – да укрепит тебя бог в сане твоём: Да не забудет твоей молитвы за нас, грешных. Староста, будь здоров. Да будет покровительство твое над нами долговечно. Шурин, сохрани бог твоих детушек. Аветик, дай бог сына твоего красной повязочкой к венцу повязать. Сват, свет ты наш, пошли тебе господь здоровенького мальчика. Все кругом – будьте здоровы и веселы! Господи-боже, пошли нам кончину благостную! За ваше здоровье!

Так каждый пьющий должен был каждому в отдельности что-нибудь сказать и на каждую здравицу отозваться. Если даже двадцать здравиц провозгласит человек и двадцать человек сидит, все равно, если при каждой здравице не сказать в отдельности чего-нибудь, так и вина не проглотит, такая здравица в горле застрянет.

Иной целый час держит чашу в руках, все ждет, чтоб пропели ему что-нибудь или сказали, спели бы, к примеру, шаракан его имени. Известное дело: кто же на селе; кроме попа да дьячка, может спеть шаракан? Но и у них частенько – не то шаракан, не то баран: так шерсть треплют, что не дай бог! – слушатель мигом до святой земли Иерусалима добежит. Но что поделаешь. На их счастье, тысяча есть таких, которые ни грамоты не знают, ни силы ее. Оно, может, и лучше, – меньше голов будет болеть.

В нашей стране перво-наперво моют руки и утирают, – все это сидя, – а малый с полотенцем на плече, с медным тазом в руках подходит к каждому, наклоняется, либо становится на колени и льет воду ему на руки, – потом расстилают скатерть, посредине расставляют солонки, миски с сыром, с рыбой, затем перед каждым накладывают хлеба вдоволь, иногда, бывает, и зелень.

Ложки, вилки, ножи в нашей стране в обиход еще не вошли. Когда есть у человека пальцы, на что они, – вилки да ножи?

А кушанья подают на подносах, и слуга, закинув полы и рукава за плечи, нагибаясь, ставит по одной миске на двоих.

После еды опять непременно сполоснут и руки и рот – иначе вся еда поганой покажется.

Снимать шапки за столом либо кланяться – не в обычае. Такой уж в стране порядок, это не Европа, чтоб быка приподымать да глядеть, есть ли под ней теленок, или нет.

Как поели малость соленого кохака да сыру, в животах прямо волки взбесились.

– Эй! У меня что-то печенка заныла, во рту пересохло, налей-ка этой отравы, посмотрим, что у нее за вкус!.. Кусок рыбы в горле застрял. Что же это такое? Не уморить же нас сюда привели! – Так со всех сторон кричали старейшины, требуя, чтоб поскорей наливали вино.

Однако да не подумает кто-нибудь, что армяне, подобно некоторым другим народам, готовы за вино душу отдать, или как иные люди, не выдавшие Кавказских гор, увидят вместительный бурдюк с вином, и давай креститься, а потом засыпают где-нибудь в винном погребце, либо закладывают шашку и сюртук, либо в грязи валяются, в снегу, и бредят во сне. Не дай бог!

У армян этого порядка нет. Они от таких привычек и поведения давно отказались, – а все потому, что света не видели, как ослы жрали, как ослы росли, ни о морали, ни о законе божием ничего не слыхали – вот они и не знают цены вина; выпив два стакана, не лишаются ног и головы не теряют, не возносятся, как влюбленные, в небеса.

Нет, нет, они народ грубый, всего своего состояния на питье тратить не станут, – зато, при надлежащем случае, напивают на хозяина – лей, мол, вина – и столько пьют, что лица у них превращаются в розы, головы – в барабаны, языки – в соловьиные, сердца – в львиные, – но только не в свиные! В жизни ты не увидишь, чтобы армянин валялся в грязи, хоть выпей он пять тунг вина.

А я скажу: молодец! Вот это настоящий мужчина, – пусть-ка попробует другой кто!

Малый, служивший при трапезе, опять поднес попу чашу, стакана в два, – тот благословил и отправил по назначению. Потом передал другим. Так, во время всего обеда никто сам себе вина не наливал, – это дело слуги или кого другого. Если даже двадцать человек сидит за столом, все должны пить из одной чаши, и выходит так, что пока чаша, идя по кругу, дойдет до последнего человека, у того уже в горле пересыхало, а у первого уж и слюна не идет.

Здравницы, тосты произносить в Ереване не так принято, но человек не должен пренебрегать своим красноречием; как возьмет в руки чашу, так должен что-нибудь сказать, – что выйдет, то выйдет, не так важно. Когда головы разгорячатся, – говори, что хочешь. Ежели и плохое скажешь, сойдет за хорошее.

Обычные кушанья у нас в стране следующие: бозбаш, кюфта, хаш, толма, рыба жареная и вареная, плов с бараниной, вареная курица и шашлык из барашка – его поджаривают тут же в бухарике и частенько прямо на вертеле, с пылу с жару, подают друг другу. Время от времени и слуге, обносящему круговую, приходится открывать рот, чтобы кто-нибудь из гостей собственноручно положил в него кусок шашлыка или дал отхлебнуть вина из чаши.

Эдак осушили они уже несколько чаш и все пришли в хорошее расположение, головы разгорячились, – словом, уж собака и хозяина не найдет!

Крчонц Вирап, конечно, тоже был среди гостей, сидел с сазом на боку, наготове. Его только и не хватало. Как же не восхищаться его голосом? – были бы уши!

Как только потекла вода по руслу, он настроил свой саз – валяй, пируй!

Стены гудели, земля тряслась, потолок шатался, голос певца пронзал череп насквозь. Такой был зычный у Вирапа голос, что хоть уйди да пять часов по дороге иди – и оттуда все будет слышен!

– Хвала тебе и слава! Вот уж молодец, так молодец! Эх, кабы матери твоей еще пятерых таких народить, чтоб не был ты единственным на свете! Пой, голосистый ты наш, пой, – и дай бог тебе век жить всласть!

Так с тысячи мест восклицали наши господа старейшины, тряся головой и со вкусом рыгаясь, – а у кого и слюни текли изо рта.

Частенько, при веселом расположении духа, и поп начинал показывать свои певческие качества и либо соревновался с Вирапом – орал во весь голос, – либо затягивал «Мироносицы-жены...», тем самым заставляя пирующих отставлять или задерживать в руке чашу, – но пел он таким прокопченным, надтреснутым, крикливым, прокисшим голосом, что у людей головы с плеч срывались.

А старейшины тоже не зевали – что на ум придет, все выкладывали, – горланили, орали так, что пение бедного сазандара всем этим хором вовсе бывало для него изгажено.

Но этого мало. Тут еще и наш медоустый староста раскрывал свою беззубую пасть. Так что было! – стены дрожали, кошки мяукали, куры во дворе, заслышав хозяйский голос, становились в ряд, клохтали и кудахтали. Теленок, бык, лошадь, вся скотина – готовы были от радости с привязи сорваться.

Осел орет, буйвол ревет, коза блеет, корова мычит, теленок кричит, кто шипит, кто пыхтит, кто жужжит, кто взвизгивает, – об остальном не говорю, стыдно. Скотина с ячменя да соломы, известное дело, всякое допустит.

Словом, что тебе, читатель, надоедать? – такого барабанного боя, такой музыки и во дворце у шаха не услышишь! Но пускай их, – зеленой себе, лоза, на здоровье!

Вся эта артиллерия, – так сказать, пальба орудийная, – ни на кого не действовала. Многим как будто даже нравилось.

Но час на час не похож, – была беда с рассыльным, теперь с попом. Этот последний, среди всего происходящего, только было взял чашу, благословил и поднес к губам, намереваясь осушить, как вдруг осел с другой стороны так тарарахнул, что у бедного попа последний рассудок из головы вылетел.

Он весь растерялся, половина вина не в то горло попала, половина по бороде разлилась, и поп, желая удержать чашу, чтоб она не разбилась, так двинул невзначай левой рукой – да ослепнет глаз сатаны! – что крепко саданул старосту по голове, у того папаха отскочила да в огонь, сбила с шашлыком вертел, а из десяти зубов Старостиных один с места сорвался да в животе и спрятался. Будь другое время, знаю я, как бы он по волосику выщипал попу бороденку и в рот бы ему запихал, – но в этот час можно было и камень у него на темени крошить, он все равно бы не пикнул.

– Здорово, однако, ты стараешься. Ну, да ничего, на то масленица, – в голове не прояснится! Будь здоров! Эй, малый, наливай! Затяни-ка хорошенько, Вирап-джан! Давайте пить, веселиться! Кто знает, что с нами завтра будет? Батюшка ты наш дорогой, – завались твоя могила! – бороду бы я твою чалую съел, сердце бы насытил! Ешь, пей, веселись! – так говорил староста и довольно чувствительно бил попу по плечу. Тот тоже в долгу не оставался и за каждый удар отплачивал пятью.

Так, спокойно, по-домашнему, по-семейному, кутили наши господа старейшины, весело шутили, старались угодить друг другу, рассказывали тысячи хороших сказок, вставляли к месту поговорку, или басню, отпускали шутки, услаждая сердце слушающего. Так проводили они свой мирный день.

Давно уже насытились, яств больше не касались, ели сладости, пили вино, а кто и вставал поплясать. Когда поп предлагал кому-нибудь чашу с вином, тот тысячу раз изворачивался на все лады, чтоб принять дар из святых его руки к деснице его приложиться. Так дожидались они часа, когда можно будет встать из-за трапезы и пойти посмотреть, как джигитует молодежь.

## 5

Солнце поднялось и стало посреди неба. Мороз немного сдал, в воздухе потеплело. Горы и ущелья блестели и сверкали, как серебро.

Кто бы в эту пору ни вошел в Канакер, всякий подумал бы, что с неба слетела некая благая весть, что мир стал раем, и глаз человеческий не должен больше видеть горя и скорби. Развалины Канакера и те окрылились и хлопали в ладоши, что не останутся впредь в таком виде, что и они обновятся, застроятся и заселятся.

А сколько мужчин, молодых парней, ребятишек повысыпало из домов и веселилось на улице и на крышах! Посторонний человек мог бы подумать, что эти сельчане – хозяева земли, ни горя-то у них, ни забот, и у каждого по тысяче туманов. Народ веселился, одни плясали рука об руку, другие, усевшись кружком, пировали, – кто пел, кто вторил.

Тут дудела зурна, там играли в жгут, в другом месте боролись борцы, либо гадали цыганки. Мальчишки играли в снежки, в жмурки, сражались, как настоящие солдаты. Звуки барабана и зурны, шум и гомон, казалось, заполнили весь мир.

Агаси тоже, отпировав, прибыл во главе десятка таких же, как он, молодых всадников, проскакал через село и направился на поле, к гумнам, где мельницы, показать свое искусство джигита, – так как в селе такого ровного места не было.

Ехал он, подлинно, что царский сын! Весь в оружии и доспехах, за плечами – ружье, на боку – шашка, пара пистолетов и кинжал за поясом, в зеленых канаусовых шалва-рах, в шитой золотом капе, с шелковым розовым платком вокруг шеи. Ногайская шапка лихо заломлена и надвинута на правое ухо, золотисто-каштановые кудри играют с ветром, прикасаются осторожно к благородному его лицу, спускаются на шею. Усы, словно из тонкого шелка, так закручены и уложены, что каждый ус концом своим касается уха. Кто ни посмотрит – восхитится!

Сельчане, как завидели его, – давай хлопать в ладоши, плясать. Тотчас сговорились и запели песню, в честь него сложенную:

«Агаси-джан! Голубь ты наш! Эта чаша полная – за твое здоровье, свет ты наш ненаглядный, будь век среди нас! Поезжай – и мы за тобой сейчас!» – перекликнулись так со всех сторон и выпили за здоровье Агаси. Благородный же юноша, в ответ на оказываемую ему честь, махал шапкой, любезно кланялся и ехал дальше.

Уже издали было видно, какие чудеса выкидывал юный удалец. Припав головой к уху коня, он так его гнал, что искры из-под копыт сыпались и, казалось, это не конь, а быстрокрылая птица!

Много раз подряд бросал он издали джирид свой и, пустив коня вскачь, подымал с земли на всем скаку и снова бросал.

А не то закидывал в воздух, а сам несся следом, как молния, и, поспев схватить его еще на лету, опять выпрямлялся в седле.

Или, когда джирид уже лежал на земле, он, скача мимо, так свешивался с седла и так ловко его подымал, что джирид трепетал у него в руке.

Иногда же бросал он джирид в товарищей, но до того метко целился, что задевал лишь кончик шапки, а то и вовсе шапку сносил, – но товарищи знали, что их самих он всегда пощадит, не заденет.

Часто обеими ногами становился он на седло и пускал коня вскачь. Любо было смотреть на его удалство, на ловкость его и мужество. Как не восхищаться!

– Молодец, молодец ты, Агаси! Одного такого мать родила. Тысяча лет пройдет, другой такой навряд родится! – говорили зрители, смеясь, радуясь, хлопая в ладоши.

Вдруг среди этого общего веселья словно гром грянул и потряс землю или пушечная пальба прогремела, или же небо само, разверзлось.

– Увели!.. Увели!.. Боголюбивые люди – сюда! Сюда, помогите! Плачьте надо мной! Дом мой попрали, очаг мой разрушили! Свет у глаз моих отымают, сердце из груди вырывают .. Помогите же! Бог, небеса, земля, море!.. Что же это за наказание, что за бедствие великое! Ой! Помрачитесь, дни мои, вся жизнь моя! Что это я вижу? Да переломится шашка вас в руках, да зарастет дорога ваша колючкой да тернием! Сгасла моя жизнь, мое солнце. Ой! В какую мне воду броситься, в какой ад сойти?.. Что же ты, земля, не развернешься, не поглотишь меня, глаза мне не засыплешь? Какими же мне глазами оплакать свой черный день!.. Дитя мое увели!.. Помогите!.. Боже, где ж твое милосердие? Что за огонь ты наслал на – нас! Сжег ты нас, испепелил... Возьми, возьми ты душу мою, тобою дарованную, – не нужна она мне с этого дня. Не душу ты мне дал, ты огонь послал, чтобы горел он внутри и тело сжигал... Ой, горе!.. На помощь!.. Помогите!.. Спасите!.. Обвалитесь же, небеса, молю вас, погребите меня под собою!.. Постыдились бы своих папах! Какие вы мужчины? Протяните же руку, помогите! Каменные вы что ль стали, деревянные? Такуи-джаи! Жизнь мою в жертву бери!.. Такуи... Умру за имя твое... лицо мое – под ноги тебе, Такуи-джан... За очи твои голубые всю себя отдам, ненаглядная ты моя! Как глаз свой, берегла тебя, лелеяла – для того ли, чтоб попала ты в такую беду!.. Лучше меня убейте... вонзите мне шашку в сердце... пусть я у ног твоих дышать перестану... пусть в землю сойду... тогда уж пускай и уводят тебя... чтоб я твоего тяжелого дня не видела... забери меня, ад крошечный...

За этим душу раздирающим криком явственно слышен был чей-то мужской голос: кто-то говорил по-тюркски, угрожал, заставлял женщину смолкнуть.

– Замолчи ты, сука, стерва! Сейчас тебе живот распорю! Чего взбеленилась? Приказ сардара. Велено дочь твою взять и увезти. Что вы можете? Какая у вас сила? Перед приказом сардара и гора не устоит. Ну, что вы можете сделать?

Народ словно водой окатили. Все поняли, в чем дело. Приехали сардаровы ферраши (слуги), взять девушку. Кто ж осмелится пикнуть?

И превратилась масленица в смертную скорбь.

Дети, дрожа и плача, побежали домой, женщины позамыкали двери и попрятались за карасами в погребках, укрылись по горницам или же забились в солому и сено.

Все селение сразу, в один миг, будто разрушилось.

Из мужчин, кто был потрусливей, – лепетнул, спрятался, другие же, у кого было мало-мальски твердое сердце, с ужасом и трепетом подошли поближе, – не за тем, однако, чтоб помочь несчастным, а для того лишь, чтоб посмотреть, какие люди приехали и как увезут бедную, злополучную девушку. На них лица не было. Бледные, как мертвецы, стали они в ряд на крышах домов. Многие не могли языком шевельнуть, – рот одеревянел. У многих всё нутро от ужаса заледенело. У многих губы от страха растрескались, кровь из них ручьями текла.

Как бы хотели они помочь, как бы хотели все, что есть у них, отдать, чтоб вызволить бедняжек!.. о кто же мог что-нибудь сделать? Раз сардар приказал, – кто же посмеет руку поднять?

Попробуй, пикни хоть раз, – тотчас дом твой и все твое добро подожгут, а самих приставят к жерлу пушечному да и выстрелят. Не приведи бог! Врагу своему не пожелаю попасть в лапы нехристей. Каким прахом посыпать себе голову?..

Что хотят, то и делают. Ни суда на них нет, ни расправы. Сколько армянский народ подобных бед видел, а нет того, чтоб сговориться и себя спасти. Девушек, к примеру, утаскивали, мальчиков уводили, а там обращали в магометову веру, от своей веры отступаться заставляли. Часто и голову отрезали, жгли, замучивали. Ни дом армянину не принадлежал, ни скот, ни все добро, ни сам он, ни жена его. Удивительно, что даже при таких бедствиях, при стольких ужасах еще появлялось у этих людей веселье в глазах, улыбка на лицах.

Итак, как я уже сказал, сбежалось с сотню человек, и все стояли, засунув руки за пазуху, и глядели с крыш.

Плач и стенанья наполнили мир.

Ферраши с пеной у рта продолжали неистовствовать: то направляли ружья на толпу, грозясь всех пристрелить, то отгоняли людей прочь, но те, как перепуганные овцы, вновь возвращались, потом вновь отбегали и снова возвращались смотреть.

Что делалось с бедной, несчастной матерью – не приведи бог! И камнями-то она голову себе колотила, и землей-то себя посыпала, бегала туда, сюда, как растерявшая цыплят наседка, била себя по голове, по ногам. И столько она себя по голове и по коленам ударяла, столько кричала, просила помощи и плакала, рвала на себе волосы, столько раздирала себе лицо в кровь, что в глазах у нее света не осталось, ни силы в теле, ни языка во рту.

Голос ее стал глух, дыхание сперло, она мотала головой и дергала ногами, сама себя избивала, ударялась головой о камни, или же, ползая по земле, лизала ее, бросалась феррашам в ноги или хватала их за руки, желая вырвать пашку вонзить себе в сердце. Когда они били ее в грудь, пинали ногами и отшвыривали в сторону, она с протянутыми Руками бросалась к дочери и обнимала ее за шею. И даже, если ферраши били ее по голове ногою или кулаком, плетью или ружейным прикладом, она все равно уже не могла оторваться, ничего уже не понимала. Несчастливая хотела бы вспороть себе живот и обратно туда вложить свою ненаглядную.

– Такуи-джан, что же это? На свадьбе твоей что ли пляшу? Где ж жених? Почему попейдет? Где хна? Принесите хну, – я покрашу руки моей доченьке. Что же барабан и зурна молчат? Эй, гости! Что ж это вы зря стоите на краю крыши, руки за пазуху заложили?.. Или меня не любите? Пляшите же! Разве гости на свадьбе стоят так без всякого участия? Что глядите? Расходы, авось, мои, не из вашего кармана, – ешьте, пируйте, посулите же моей дочери счастья в жизни! Дочь у меня такая, что я ее на зеницу ока не променяю. Не можете вы что ли повеселиться ради нее, мое сердце успокоить?

Да... во сне это или наяву происходит?.. Или уж у меня голова не на плечах? Приданое готово... нет, нет... жених ведь поехал в Тифлис, не мог же он так скоро вернуться?.. Эти зачем пришли? Ведь турки армянского хлеба не едят... Да, да, признала: это знакомые наши приехали поглядеть, как у моей доченьки на свадьбе веселятся! Не плачь, ненаглядная ты моя! Такуи-джан! И тело и душу свою в жертву тебе отдам. Да пока я жива, кто ж посмеет пальчика твоего коснуться?.. Волосы твои золотистые, Такуи-джан, брови твои, пером писанные... доченька ты моя, – душу отдам за колыбель твою! Такуи-джан!.. роза раскрытая, пучечек фиалковый, солнышко мое, жизнь ты моя, венец мой и гордость, дочка ты моя!.. Открой глаза свои, за очи твои душу отдам, открой ты ротик свой, – за несравненные, розой благоухающие уста твои жизнь отдам!.. Так ли ты любишь бедную старую мать свою? Так-то ты на мою ласку отвечаешь?.. Ах, ты стесняешься... ну, хочешь, скажу, чтоб они все ушли?..

Эй, люди! Уходите, убирайтесь отсюда, не показывайтесь моей несравненной дочери на глаза! Делать вам, видно, нечего, – разойдитесь по домам, чего вы тут столпились?.. Вот ведь какие бесстыжие! Эй, вам же говорю, – оглохли что ли? Такуи-джан, роденькая моя, пойдем лучше в сад, деревья в цвету, – за цветущее лицо свое душу отдам! Поля – в молодой траве, – за жизнь твою молодую – жизнь отдам? Что же мы здесь стоим? Пойдем, посмотрим, порадуетесь...

## 6

Что мне еще сказать, что дополнить? Сердце мое все в огне, как только вспомню, что говорила, что делала несчастная мать.

Кто сам взрастил детей, тот, конечно, поймет материнское сердце. Но в силах ли немощный язык передать в словах каждую рану, каждую боль сердечную?

Злополучная мать, потеряв рассудок, не знала, что говорила, не знала, что делала.

Да и ферраши – а было их человек десять – даром что нехристи, хоть продолжали сердиться и угрожать, но, видя такие терзания матери, все же почувствовали к ней некоторую жалость. И они понимали, что не легко для матери вырастить дочь и так в один миг утратить.

Курица и та, когда цыпленок у нее пропадает, жизнь за него готова отдать – что ж говорить о человеке с его разумом?

Они тоже сбились с толку, – но то был приказ сардара. Если б они его не исполнили, не увезли бы девушку, – либо голову им отрубили бы, либо глаза выкололи. Выхода у них не было.

Кончилось тем, что они, поговорив между собой, решили и мать вместе с дочерью отвезти к сардару в крепость, выполнить свой долг, а там, что хотят, то пускай и делают. Приказали слугам седлать, одели оружие, доспехи, привязали шашки и подступили потихоньку к матери и дочери, чтоб их забрать и увезти с собой.

Такуи, Такуи, око мира, Такуи, неувядаемый цветок поднебесный! Такуи, рай, фиалка! Бесценная, единственная, несравненная Такуи! – каков должен быть язык, чтоб воздать ей достойную хвалу, какие глаза, чтоб наружности ее и образу подобие найти?

Белоснежное, лучезарное лицо ее, сиявшее как солнце и как роза рдевшее, превратилось в белое полотно, поблекло, застыло. Эти небесные очи, воспламенявшие и сжигавшие душу каждого, кто смотрел на них, – ввалились, закрылись, запали.

Такуи, юная Такуи, единственная дочь у матери, Такуи, та, что, глядя на кого-нибудь ангельским взором своим, наполняла его беспредельною радостью, – теперь окоченелая, Одеревенелая, бездыханная и бессловесная, лежала на земле, лицом к небу, словно уже не на этом свете была она, но вознеслась к ангелам, пребывает в раю и наслаждается своей непорочностью.

Ее темные-темные брови, сверкающие глаза, гранатовые щеки, ее словно тонким пером очерченные губы, ясный лоб, мраморный тонкий нос, ее соловьиный язык, золотистая шея, – все, все оцепенело, окаменело, онемело.

Когда поганая рука коснулась ее, лишь «ах» успела она выговорить. Испустила вздох, ослабела, лишилась чувств и, когда привели ее к порогу двери, затрепетала еще раз, как зарезанная молодка, и смолкла. Шея перегнулась, ослабела, голова свисла через порог, лежала по одну сторону, а тело – по другую. Половина ее золотистых волос прикрывала ее невинное лицо и грудь, другая, перепутавшись, рассыпалась по земле. Одна из нежных рук ее бессильно покоилась на груди, другая лежала на земле в оцепенении. Жилы ее высохли, дыхание остановилось, душа ее вознеслась в небо.

Да и могло ли быть иначе? До той поры уши ее обидного слова не слышали, глаза – горького дня не видели, никто при ней грубого разговора не смел завести. Как роза цвела, как фиалка выросла. Ни разу нога ее не ударилась о камень, в палец ее никогда не вонзалась заноза.

Ей уже минуло пятнадцать лет, а она о делах житейских вовсе ничего еще не знала. Девушки, подружки ее, и за порогом, и по крышам гуляли, время проводили, а она уткнется, бывало, коленками в колени матери и либо шьет, либо вышивает, а то прибирает в доме и на дворе, либо присматривает за скотиной и за всем вообще хозяйством.

Ежели птица пролетала над ее головой, она, зардевшись, едва дыша, вся перепутанная, кидалась домой, так, чтобы и тени ее никто не успел увидеть.

Занозит ли мать себе палец, заболит ли у нее что, дочь готова была душу свою вынуть и отдать ей. Не было камня, не было травы, где бы ни припадала она с молитвою, прося бога о милосердии.

Увидев нищего, изо рта своего доставала она кусок и ему отдавала, чтобы тот благословил ее и пожелал ей долголетия.

И в сад она выходила в тот час, когда свет еще не отделился от тьмы. Возвращалась же из сада, когда уже начинало смеркаться, движение прекращалось и наступала тишина.

Кто желал ее увидеть, должен был спрятаться за дерево или за угол и лишь оттуда лицезреть ее непорочный лик, восхищаться светом небесных ее очей.

Даже цветы, казалось, слышав ее шаги, радовались, ликовали, распускались пышнее.

Птицы, завидев ее лицо, словно оживлялись, подымали головку из-под крыла, заливались, чирикали, щебетали, отряхивались, хлопали крыльями.

Когда она притрагивалась к голове ягненка или же гладила его, казалось, и это невинное животное понимало, что к нему коснулась рука ангела, а не человека. Стоило ей чуть-чуть отойти, крик его оглашал весь мир, жег сердце человеческое, – так он блял, нигде не находя себе места. Нередко спал он на ее нежной коленке, ел траву из милой, благоуханной руки ее.

Когда случалось, что засыпала она на зеленой луговине на фиалках, под розовым кустом или под тутовым деревом, или вблизи журчащего ручейка, – мнилось, что с неба сошел свет и озарил берег.

Нередко, когда она так спала, мать осторожно подходила к ней, тихонько прижималась лицом к ее лицу, либо брала ее голову к себе на колени, накрывала ее и крестила, чтобы она выпалась сладко и отдохнула. Когда же подходило время просыпаться, мать опахивала ей лицо и тихонько похлопывала ладонью, чтобы она встала и успела подышать вечерней прохладой, чтобы полюбовалась на захождение солнца и, набрав плодов и цветов, вместе с нею шла домой. И часто, когда она пробуждалась так, с розами в одной руке, с пучком фиалок в другой, казалось, горы, ущелья, деревья, кусты, и цветы, и травы приходили от нее в восхищение и ловили ее дыхание, чтобы вдохнуть в себя, надышаться им, окрепнуть от него и зазеленеть.

Ветерок шелестел в ее волосах, и раз коснувшись лица ее, уже не хотел ни далее лететь, ни возвращаться обратно, все кружил над ее головой, все играл с ее волосами.

Когда наклонялась она над розой, роза сама тянулась к ней, как бы желая поймать ее дыхание, похитить у нее Цвет ланит и стать оттого еще прекраснее, еще благоуханней.

Соловей, почувствовав ее присутствие, позабывал свою Розу и начинал воспевать ее, стогрл и томился от тоски по ней.

Часто, когда она произносила что-нибудь или пела сама для себя, ей казалось, что это ангелы говорят с ней, откликаются, вторят ее голосу.

Утренняя роса с ликованием спускалась на землю, чтобы пасть на ее непорочное лицо. Последний луч вечерний отворачивался и закрывал глаза, чтобы она поскорее уснула, чтоб поскорее ночь прошла и он мог бы вновь прийти поутру, удостоиться свидания с нею, вдохновиться ее светом и возрадоваться.

Сон сходил к ее очам, как небесный ангел к святому: простирал крылья над лицом ее, навевал на нее небедные грезы, ласкал, пробуждал и снова заключал в объятия.

Ах, где я найду слова? Каждый ее поворот, каждое слово, взгляд, каждое движение глаз и губ ее – были чудесны.

Раскроет она лучистые глаза свои или губы, майораном благоухающие, – и человек уже ни есть, ни пить не хочет, а только лишь смотреть, любоваться на стройный стан ее, у ног ее испустить дух, из рук ее принять смерть.

И вот, этот ангел небесный, этот ангел невинный находился в руках зверей!

Какое нужно иметь каменное, жестокое сердце, чтобы, увидав ее или услышав рассказ о ее жизни, не содрогнуться от ужаса? Какая мать в подобную минуту не схватила бы шашку

и не вонзила бы себе в грудь? Какой сосед или прохожий, глядя на ее лучезарное лицо, не зажмурил бы глаза, чтобы заплакать и тем облегчить свое сердце?

Но бедный наш сельский люд столько подобных дел навидался и наслышался, что и слезы иссякли, и глаза перестали видеть.

Как раз в это время ферраши, приметя, что мать и дочь, обе обессилили от горя, уже не голосят и даже не дышат, сочли за благо взять их в таком расслабленном состоянии и увезти, чтобы они – не слишком мучились и страдали.

Двое из них уже сели на коней и устраивали места для обеих женщин, один – для матери, другой – для дочери впереди, перед собою и, ничего не подозревая, думали уже, что хорошо справились со своим делом, – как вдруг засверкала шашка.

Голова одного из феррашей скатилась на землю и стала клокотать, бормотать и приплясывать. Еще не успела она затихнуть, как голова другого подверглась той же участи, покати-лась за ней следом.

– Агаси-джан, Агаси, погубил ты наш дом. Опустил руку, пожалей ты своего старика-отца. Со всеми детьми, всем домом мы теперь в плен попали. Не делай ты этого, удержишь, душа моя, свет ты мой, – пожалей хоть свою молодую жизнь! Ах ты, безжалостный! Господи, что же это за бедствие на нашу голову! Святой воитель-Георгий, святой Иоанн-Креститель, помогите вы нам! Ребята, убирайтесь отсюда, убирайтесь, чтобы и след ваш простыл!

Да побегите кто-нибудь к старосте, сообщите ему весточку... Будь ему пусто, обернись ему вино ядом, – тут кровь морем разливается, а наши дурни старейшины сидят – кутят! Ну и люди! – да ляжет на них проклятьем и пир их, и свят-крест, и евангелие!

Несчастные, спросили бы хоть о людском горе, – а вы сидите в четырех стенах с кувшином да чашей, лакаете, надуваетесь!

Эй, Вато! сюда скорей, сюда! Дело-то все хуже разгорается. Сейчас придут, всех нас отведут к сардару в крепость

Агаси, Агаси! Оглох ты, что ли? Беги, беги, спасайся от этих собак, спрячься куда-нибудь! Что ты, несчастный, наделал? Погубил ты нас всех, разрушил наш дом, ох, безжалостный...

Но если бы в эту минуту загрохотали пушки и забили в барабаны, Агаси все равно не услышал бы. Он в самом деле оглох, ни уши, ни глаза, ни тело уже ему не принадлежали, однако рассудок и рука твердо знали, что делали. Глаза его налились кровью. Теперь мог молодой храбрец показать силу руки и умение свое владеть шашкой! И зачем была ему шашка, если не для такого случая?

Еще с места джигитовки увидел он, что народ переполошился, а потом затих.

– Ребята, тут что-то неладно, – едемте, масленицу нашу опоганили!.. – сказал он и полетел вихрем.

Как заметили, что он скачет, зная его горячий нрав, – со ста мест раздалось голоса, люди замахали руками, шапками, чтобы он повернул обратно, но у него уже дух захватило. С такой быстротой пустил он коня своего вскачь, что даже проверить не успел, заряжено ли у него ружье или нет.

Как лев, набросился на феррашей молодой богатырь. Он уже по дороге понял, что происходило.

Когда отсек он двоим головы, другие обнажили было шашки, но храбрец Агаси – как крикнет:

– Бесовы дети! Кто вас прислал сюда? На кого ополчились? Армянин молчит, – так, стало быть, надо его живьем съесть? Вот сейчас погашу свет в глазах ваших, – вон отсюда! Не то каждому из вас передо мной трепыхаться, как цыпленку зарезанному! Пока рука моя при мне – нитки вы отсюда не унесете!

Сказал – и одному отмахнул плечо, другому выпустил кишки – а шестеро остальных, зная, что исхода им нет, вскочили на коней и помчались напрямик в крепость.

– Вставай, голубка! Такуи-джан, открой очи свои ясные, свет мой, – ведь не помер еще Агаси, не истлели кости его и в прах не обратились, чтобы посмел кто-нибудь пальцем одним коснуться волос твоих дивных! Горе очам моим! Горе моему солнцу! – вся-то она оцепенела, вся застыла! Такуи-джан – ненаглядная моя, вот возьми, возьми душу мою, пусть лучше я умру, только ты живи, сердца бедной матери своей не сокрушай, не терзай, молю тебя!..

Так говорил нежный юноша, плакал и бил себя по голове. Слезы катились градом из его глаз.

Побежали за водой. А он, скрестив руки и сам тоже словно окаменев, продолжал стоять неподвижно.

Он не осмеливался приблизиться к ней, обнять ее, размять ей руки, сказать на ухо доброе слово, потрепать рукой по щеке, – чего нельзя, того нельзя: Такуи была девушка, чужая дочь.

Глядел он на несчастную мать, – она не издавала ни звука, глядел по сторонам, – адское зрелище мертвецов представлялось глазам его. А больше никого, ни единой души, ни «диноного лица человеческого не было видно вокруг. Все убежали, пустились в горы и ущелья спасать свою голову.

Собаки выли и лаяли, петухи и куры кричали, – как будто говорили ему с сочувствием:

– Хватит и того, что ты наделал, спасай голову! Скрывайся скорей, скачи в Памбак, в Тифлис, – на русскую землю. В этой стране солнце твое закатилось, день твой померк, светильник твой погас. Жерло пушечное здесь ожидает тебя. Пока еще тихо, пока повод коня твоего у тебя в руках, пока еще есть у тебя дыхание в устах и сила в ногах, – беги, спасай себя!

Если останешься, все равно весь дом ваш вырежут, уедешь – то же самое будет, – но, хоть по крайней мере, себя спасешь! Один ты сын у отца, не задувай его очага. Ведь руки у тебя в крови, ты убил слуг сардара. Ах, где ж твоя совесть! Подумай только – ведь их кровь с тебя взыщут. Их родные теперь в бешенстве, с пеной у рта небось сами себя грызут.

Что же ты стоишь, как деревянный! Чего еще ждешь? Резвый конь под тобою, оружие и доспехи на тебе, а кусок хлеба везде найдется на белом свете...

7

Казалось, ад разверзся перед ним. Дьяволы о тысяче головах скрежетали зубами, дико радовались, хохотали, выли, точили когти, разводили, раздували адское пламя, собираясь сжечь его, зажарить и поделить куски его между собою. Тысячи карасов с горячей смолой, тысяча змей и скорпионов, казалось, ожидали, раскрыв пасть, готовые растерзать его, проглотить, сожрать.

Едва он успевал очнуться от ужасного этого сна, как ему начинало мерещиться, что сардаровы палачи, засучив рукава, с налитыми кровью глазами, с отточенными шашками, подходят к нему и вот-вот сейчас его уведут. Пушкарь прочищает, готовит пушку, уже заряд выбран и поднесен. Отец, мать, родня, земляки, прохожие, – все будто кричат, голосят, хлопают себя по голове, по коленям бьют, сокрушаются, кличут его по имени и оплакивают:

– Агаси-джан, и меня, и меня ударь шашкой! Погибла моя жизнь, померкло солнце... Разрушен дом... дитя ты мое... душа моя... небо, земля, ангел ты мой... ой, горе!., глаза мои выкатились, зрачки потухли... срази меня своей рукой, сын ты мой драгоценный... умру у ног твоих, дышать перестану!., милый ты мой... из рук твоих приму смерть!., душа ты моя... Седины мои подстелю под ноги тебе, Агаси-джан! Пока есть свет в глазах моих, дыхание в устах моих, стань на уста мои ногой, вонзи мне шашку в самое сердце, дай мне смерть, дай я уйду, сгину совсем, – а там делай, что хочешь. Лиши меня света очей! К небу я приравнял тебя, сын мой... вершина моя горная, божество мое!..

Старик валялся в ногах Агаси, бился головой оземь, рвал на себе волосы, кидался обнимать ему колени.

Любезные читатели, – не излишне ли говорить? – вы и сами догадываетесь, что этот бедный, несчастный старик был не кто иной, как горемычный отец Агаси.

Вестник, немой от ужаса, вбежал в саку, где пировали старейшины, и крикнул:

– Эй! Да не разрушится ваш дом, – на село напали, разгромили, девку Атоянцову схватили, Агаси в крови плавает, ферраши стреляют, губят народ... – и как бывает, что грянет вдруг гром или страшно выпалит пушка и грохотом отдастся в ущелье, и скалы дрогнут и загудят, а уши у тебя вдруг оглохнут, и ты стоишь несколько минут, как ошалелый, и голова твоя полнится гулом и кружится, в глазах темно, мрак и темень тебя обнимают, рассудок улетучивается, стоишь, как остолбенелый, ноги, руки слабеют, и весь ты дрожишь, и язык у тебя немеет в гортани, и уже не знаешь ты, где находишься, – на земле или в аду, – так и отец Агаси содрогнулся до мозга костей, сознание от него отлетело, и застыл он на месте, остолбенел и стал водить глазами по сторонам.

Он был уже изнурен старостью, одной ногой в могиле, и было у него на свете всего одно детище, этот единственный сын. Любовался он на него и думал: царь я и шах на земле!

Глядел ли, как сын джигитует, – ноги его словно отрывались от земли, словно взлетал он на крыльях. Все забывал он – и старость, и смерть, и ад, и рай. Думал, что во второй раз родился, радовался, ликовал, веселился и хохотал, как восьмилетний мальчишка.

Бывало, услышит его имя, и все нутро в нем взиграет, и сердце оборвется. Каждый раз, когда он целовал его в глаза или обнимал его, ему казалось, что свет нисходит на него с неба, что стены превращаются в розы, горы и долины – в сплошные цветы.

Глядя на его ясный лоб, любясь ростом его, всем его обликом, думал он, что это вошло новое солнце, ему хотелось расцеловать себе грудь и вложить его туда.

Вот уже стал Агаси и взрослым юношей, а ни разу отец не сказал ему жестокого слова, ни разу так не выразился, что у тебя, мол, глаз за бровями не видно, или – чтоб дымом на тебя понесло!

Если б он жизни у отца потребовал, не пожалел бы отец и жизни, если б душу захотел взять, не пикнул бы, голову бы свою продал и исполнил бы заветное желание сына.

Когда случалось ему идти к хану или беку, он так наряжал его, что все дивились, на него глядя. Сардар и сам теже заметил удалство юноши, его храбрость, силу его руки. Часто, в праздничные дни, оказывался он первым среди всех джигитующих, – никому, бывало, не уступит. А борцы при одном его имени приходили в ужас, их кидало в дрожь. Когда выходил он бороться на площадку, все стояли, разинув рты. Ни один не осмеливался и близко подойти к нему.

В крепости у сардара частенько шутики ради подводили ему быка или верблюда вместо барана, – авось, дескать, хоть тут посрамится, – либо подменивали ему шашку, давали тупую, чтобы хоть чем-нибудь его потом устыдить, но молодой удалец одним махом отсекал голову что быку, что верблюду: и валилась голова в одну сторону, туловище в другую

– Жаль, жаль, что ты армянин! – нередко говаривал сардар, качая головой, – был бы ты мусульманином, следовало бы тебе ханство дать!

В самом пылу боя, среди пуль и огня, он летел стрелой, врзался в самую гущу вражеских рядов, как лев, раскидывал кого в одну сторону, кого в другую, разил, крошил и, схватив какого-нибудь османца за волосы и волоча его по земле, приводил к сардару.

– Аслан баласи (сын льва)! – восклицал сардар и целовал его в лоб. – Вот еще бы мне таких десяток! Переломись спина твоей матери – чего она еще четверых таких не родила? Молодец, молодец! Да пребудет светлым лица твое!

На охоте его пуля всегда первая попадала в цель.

И ханы и беки приходили в изумление, в восторг от красоты его лица, от широких, могучих плеч его. Частенько, как бы в шутку, они говаривали, что сделайся он мусульманином, так быть бы ему беком или даже ханом. Обещали поместья, говорили, что дадут крестьян, скот, богатство всякое, девушек, – но не тем молоком был он вскормлен, чтобы отступиться от святой своей веры, позариться на имущество, на блага суетного света.

– Мой черствый хлеб слаще мне вашего каблу плова! Последнего паршивого волоска с головы нашего священника не променяю на вашего муллу да ахунда. Лучше мне в, своей вере ходить за плугом, пахать да сеять, копать землю-заступом, чем стать ханом или беком, властителем мира, а от веры своей отступиться.

Сардар подарил ему шашку, Джавад-хан – ружье, Наги-хан – коня. Не так давно назначили его сотником в армянском отряде. Что еще добавить? Один был Агаси на весь Ереван. Всякий его именем клялся, всякий радовался его жизни, хотел чем-нибудь угодить.

## 8

– Где же это я? Сплю? Или бодрствую? Сон вижу?.. Ох, ох, ох... Вот, вправду, крови море... – так стал говорить сам с собой злополучный старик, когда первый жар остыл и нашло на него оцепенение. – Вот она, преисподняя, самый ад... верно рассказывают – геенна огненная... горе мне, трижды горе!.. Плоть моя трепещет... В глазах темно... вон, вон – готовят крюки, косы точат, вон вертела сверкают... Боже, велика слава твоя!.. Зачем же ты создал нас, чтобы сжечь в пламени вечном?.. Блажен, кто не вышел из утробы материнской... Что я вижу?.. Господи-боже ты мой!.. Вон жарят... на куски мясо режут... Пощады, пощады!.. Пощады молю!.. Сгиньте с глаз моих! Провалитесь вы!.. Вон тот вина много пил – так ему теперь живот распарывают... Кто злословил, сплетничал, наговаривал, дома разорял... тому язык вырывают... ой, жгут, ой, жарят на сковороде... Вон тот деньги любил... так они монеты из огня достают, к телу ему прикладывают... А у взяточника-то: мясо вырывают щипцами, да и суют ему в рот... Беспутникам да ворам, да блудницам свинец расплавленный льют на голову... вертела раскаленные в сердце им вонзают... обжигают, нутро им жгут... Там визжат, там стонут, где писк, где рыдание... Вон у того вместо пота струи огненные с лица стекают, а у этого – огонь изо рта, пламя... жгут его... отсюда молния ударяет, оттуда гром гремит... Все исчезло – небо, звезды, солнце, луна... все померкло... Ой, чудится мне – у одного не язык, а меч огненный, у другого не рука – змея, у этого – огонь из глаз, а у того из носу – дым... Боже! Куда я попал?.. Кто завел меня сюда?.. Или это уж день судный?.. Давно ли, – вчера еще всем народом, всем селом сидели мы – пиروвали... Помогите, спасите бога ради!.., ради Христа!.. Вон идут... сейчас уведут и меня... Агаси-джан! Где ты?.., протяни же мне свою богатырскую руку! Родной мой... когда же ты отцу поможешь?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.